

1418 ДНЕЙ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ



ВТОРЖЕНИЕ

СУДЬБА ГЕНЕРАЛА ПАВЛОВА

А. Ржешевский

1418 дней Великой войны

Александр Ржешевский

**Вторжение. Судьба
генерала Павлова**

«ВЕЧЕ»

2011

Ржешевский А. А.

Вторжение. Судьба генерала Павлова / А. А. Ржешевский —
«ВЕЧЕ», 2011 — (1418 дней Великой войны)

Дмитрий Григорьевич Павлов – одна из наиболее трагических фигур начала Великой Отечественной войны. Генерал армии, Герой Советского Союза, заслуженно снискавший боевую славу на полях сражений гражданской войны в Испании, Павлов, будучи начальником Особого Западного военного округа, принял наиболее страшный и жестокий удар немецко-фашистских войск – на направлении их главного удара. Да, его войска потерпели поражение, но сделали все от них зависящее и задержали продвижение врага на несколько недель, дав возможность Генеральному штабу перегруппировать силы и подготовиться к обороне. Генерал Павлов был расстрелян 22 июля 1941 года по приговору Военного трибунала, но истинные причины суровой расправы над талантливым полководцем были похоронены в недрах архивов НКВД – ГПУ...

Содержание

1	6
2	12
3	16
4	21
5	22
6	24
7	31
8	36
9	37
10	39
11	43
12	47
13	50
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Александр Александрович Ржешевский

Вторжение. Судьба генерала Павлова

©Ржешевский А.А., 2011

©ООО «Издательский дом «Вече», 2011

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

1

– А тебя никто не спрашивает, – сказала старуха бульдогу, который шел покорно на поводке. Пес приноравливался к маленьким старушечьим шагам и переступал, как хозяйка, – мелко, неторопливо, бочком, потому что с трудом сдерживал бьющую через край энергию и мощь.

Ветер бросил им навстречу белую метельную занавесь.

– Холодно, а ты все просишься гулять, – продолжала старуха ворчливо. – Гулять бы ему да гулять... Смотри, какой снег!

Бульдог понурил голову, будто и в самом деле почувствовал себя виноватым. Выпучив глаза, печально поглядел вверх на хозяйку.

Метель бушевала с утра, будто вернулся февраль. К полудню успокоилось, только изредка сорванные с деревьев белые шапки рассыпались прозрачной кисеей. Наконец где-то вверху, в небе, отодвинулось облако, и брызнуло солнце.

Словно почуяв свою правоту, бульдог дернул за веревочку и поволок старуху к речке, на мост, под которым бурлила вода. На потрепанном настиле не хватало досок, разметанных колесами грузовиков и танкеток, проходивших здесь целыми вереницами во время зимних учений. И теперь сверху сквозь щели видно было, как вода крутилась вокруг деревянных свай, а подплывавшие льдины вгрызались, разламывались от ударов и плыли дальше. Видно, пришло время, и, несмотря на холода, половодье набирало силу.

Старуха хотела было идти через мост, но замешкалась и резко натянула поводок. Пес оглянулся. Он не посмел подумать, что мудрейшая его хозяйка в чем-либо не права, и терпеливо ждал разъяснений.

– Туда опасно, – с запозданием пояснила старуха. – Можно провалиться. Поглядим, как они проедут.

Сверху по дороге прямо к мосту, вырастая с каждой секундой, скатилась новенькая танкетка и остановилась по другую сторону реки. Аккуратные колесики прилажены надежно и не цепляются друг за дружку даже на самом быстром ходу. Грозной пустотой зияла тоненькая пушечка. Во всех линиях – лад и продуманность, словно бы лучше и смастерить нельзя, не то что рохля трактор, всю зиму ржавевший на краю поселка. Нет! Люди всегда для истребления и войны думали быстрее и ловчее, чем обо всем остальном.

Танкетка еще приблизилась, от ее броневых плит, выкрашенных зеленой краской, веяло какой-то праздничной несокрушимой мощью. Но старуха не радовалась. Мир, который она создавала всю свою жизнь, крепчал и наливался силой. И в то же время оставался чужим, больше того – враждебным, изничтожающим все, что связано было с ее делами и памятью.

Тяжесть крашеного броневых листов, как и всякое другое проявление государственного могущества, вызывало у старухи острое ревнивое чувство: если бы она руководила страной или друзья – такие, как она, – броня была бы крепка не хуже, а даже лучше.

Но все связанное с нею, с друзьями, сломлено, разметано и странно, что уцелело в душе после стольких тюрем. Но даже если бы этих горьких лет было вдвое больше, она бы не отказалась от своей судьбы. Жизнь ее была заполнена любовью по самую высокую отметку – выше не бывает, – хотя за всю жизнь ей выпало любви меньше трех лет.

Она сама не ожидала, что ее выпустят из тюрьмы и даже разрешат поселиться у двоюродной тетки. Больше от семьи никого не осталось. Странно, что посреди всех бурь в ней по-прежнему крепло чувство, что будь отец жив, он бы защитил ее ото всех невзгод. Умом она понимала: ничего не мог сделать слабый больной старик. А чувство жило. И видела она, как в стылый мартовский день возле дома кабатчиков Мызниковых отец повязывает алую ленту

на броневик. И все кричат от восторга, и он кричит. Слава богу, не дожил до Октября. А если бы дожил, увидел бы, что она увидела?

В том, что ее выпустили в канун семнадцатой годовщины, заключался какой-то дьявольский смысл. Милосердию «их» она не верила. А после декабрьских событий в Ленинграде каждую ночь ждала нового ареста.

Старуха не заметила, как танкетку плотным кольцом окружили сбежавшиеся ребяташки. Дождались – с лязгом откинулся люк, из него выбрались два танкиста в комбинезонах и шлемах. Что они говорили, прикуривая друг у друга, и чему смеялись, старуха не уразумела. Но когда двинулись навстречу, прилепив взгляды к ее лицу, поняла, что за ней. Обычно ночью тихо подползала черная маруся. Теперь решили на танке.

Она не удивилась. Только натянула собачий поводок, и внутри застывшего скрюченного тела забило, залихорадило. В глазах, вместо одного солнца, вспыхнули сразу тысячи, и столько же минувших дней и ночей в один миг промчались перед ней.

Воспоминания были самой крепкой опорой. То, что отцу казалось катастрофой, для нее было огромным всеохватным счастьем. Ну и что теперь, когда его нет? Разве она не права? Конечно, как не удивляться, не охать окружающим, если она, дочь известного ювелира, владельца богатых особняков, сбежала по горячей любви с бездомным учителем словесности, который по характеру своему и по внешности должен был не азбуку разбирать с малышами в приходской школе, а странствовать по рыцарским турнирам на коне и со щитом.

«Эх, Мария! – говорил он, сжимая ручищами ее плечи. – То ли еще будет! Хочу бросить все и землю поглядеть. Махнем на край света! Со мной не пропадешь». Ей-то, молоденькой, и тяжело, и боязно, а голова сама склоняется в согласии и восторге. Губы шепчут: «Да! Согласна! Пусть... на край...»

Старуха подобралась мысленно, выпрямилась бесстрашно и бросила на подходивших танкистов колющий взгляд. Она повидала гопэушников в разном обличье и беспечным видом подходивших военных не могла обмануться.

Но те неожиданно остановились, поговорили о чем-то без улыбок и воротились назад. В старухиных глазах вдруг прояснилось, и она узнала одного из военных, коренастого, с обветренным, точно вырубленным грубым лицом и мохнатыми бровями. Уроженец бедной костромской деревни, он выбился в большие командиры, и приезд его стал событием для областного начальства. Фамилия проста, как воробьиное чириканье. Несмотря на вольнодумство, она с девической поры внутренне отгораживалась от простого люда. Иванов или Петров? Ах, да! Павлов!

Ревностно оспаривая решения новой власти, она, тем не менее, шестым чувством одобрила этот выбор. Не потому, что коренастый танкист показался ей чем-то симпатичен. Главным было предчувствие. Мысленно она продолжала руководить, действовала. Необходимую информацию ухитрялась получать отовсюду, даже в тюрьме.

Коренастый танкист уже наверняка не вспоминал свое босоное детство и пастушечий кнут. Пробежал за несколько лет путь, назначенный многим поколениям. В этом его сила, но в этом же страшный провал. Сейчас от его фигуры веяло властью. Но редко кто из таких скорохватав умеет править по совести, по уму. Оттого и нет ума, что ставят друг дружку не по уму, а по иным качествам. Сладостная ноша власти для многих оказалась непосильной. Но уж верно, по своей воле никто ее не бросил.

В коренастом танкисте чудилась надежность. Можно было заранее представить судьбу: такой не предаст. И не промахнется. Рассчитает все с выгодой для Отечества. Не только для себя... В Гражданской участвовал. Но в расправах не замечен. Не то что Васильев... Кстати, тот высокий с ним – не Васильев?

Мозг пронзила молния. В памяти, наоборот, стусилась тьма. Не понять! По росту вроде бы похож. Стольких богатырей согнуло и пожгло, что каждый на примете. А Васильев был

особенный. Светловолосый статный красавец так и остался ненавистен для нее и самых близких людей. Правда, этот, рядом с Павловым, в шлеме. Но не так, не так пригож... Может, глаза подводят? Сколько, поди, годов пролетело! И каждый за три. А то и за пять...

Неужели он?

Хлопнул железный люк. Настала тишина, взломанная затем ревом мотора, дрожанием земли. Чья-то красная шапочка заметалась перед броней. И вихрастый паренек – из будущих храбрецов – вытянул девчушку на обочину. Неторопливо переваливаясь, танкетка вползла на мост, осторожно ощупывая гусеницами каждый гвоздь и зависая над провалами. От середины полета рванула вперед, выдрав еще несколько досок. И – залопотала гусеницами вдоль дороги. Минуты не прошло – исчезла за поворотом. Окружающий воздух вновь очистился от копоти и страха.

Старуха решила возвращаться и опять резко натянула поводок. Пес оглянулся, точно мог сказать: «Зачем останавливаться? Все правильно. Вот он свесился над перилами. Сейчас можно подойти».

И тотчас, будто согласившись, старуха заковыляла к реке.

После отъезда танкистов веселая гурьба мальчишек закипела на мосту. Потом рассыпалась по берегу. Река разливалась все шире, вода поднималась, и мальчишеским восторгам не было предела. Это очень хорошо понятно было даже охлажденной старушечьей душе.

Один из мальчиков пронзительно напоминал старухе сына. Встречая его, она всякий раз вздрагивала. Тот, погибший, и этот, живой, смотрели на нее одинаковыми глазами. Даже имена совпадали.

Подросток был слабосильный, головастый, нерешительный. Ей виделся затаенный взгляд с печалью, точно мальчишку побили перед этим, хотя он прыгал и хохотал наряду со всеми. Вдруг опомнился от крика:

– Эй, Серый, пойдем стыкнемся! Уговор, до крови, а не до слез. Понял?

Кто-то напрашивался на драку. Старуха в этом понимала и вознамерилась помешать драчунам. Пес двинулся вместе с нею по мосту, мелко перебирая ногами. Глянув на подростка, старуха еще раз поразились его сходству с ее сыном Костиком, который помер, когда она была в Зайсанской тюрьме. А может, убили...

В российской истории густо рассыпаны такие дела, не счесть. Помнили только царей. А с обыкновенным человеком никогда в России не считались. Может, потому и судьба у нее такая?

Кто-то бы удивился: откуда сходство? Этот Костик еще не родился, когда сыночек помер. И было-то ему, голубку, чуть больше пяти лет. Но когда старуха глядела на подростка, ей виделись те же глаза, глубоко спрятанные под бровями, что навек впечатались в ее душу; тот же выпуклый, зауженный кверху лоб... Она сама не понимала, откуда и почему, – но с разрывом в сотни верст и десятки лет – у этого подростка, встреченного случайно, лицо и голова были, как у Костики.

Облокотившись на деревянные перила и угрюмо посверкивая глазом, подросток смотрел на приближавшуюся странную пару. Он давно знал старуху и не любил за назойливость, за тонкую прозрачную кожу на лице, за безжизненные, ничего не выражавшие, кроме строгости, глаза. Встречаясь, он никогда не здоровался, норовил пробежать. И тем более удивительно было то, что старуха всегда узнавала его.

– Вот! – сказала она бульдогу. – Видишь? Стоит наш дружок. Подойди и поприветствуй его. А я пока отдохну.

Бульдог послушно подошел и обнюхал забрызганные грязью штаны. Подросток улыбнулся, не разжимая губ и содрогаясь от брезгливости к псу и мощи, которая клекотала под гладкой львиной шкурой.

– Спроси: почему он не в школе? – проскрипела старуха.

Пес бросил из пасти шматок слюны и нетерпеливо переступил передними лапами.

– Нас отпустили, – отозвался Костик, прижимаясь к сухим теплым перилам моста. – Из-за разлива.

Он ненавидел и в то же время побаивался старуху, а может быть, бульдога, странным образом понимавшего человеческую речь.

Неожиданно быстро и проворно старуха протянула руку и коснулась его лица сухими пальцами. С полыхнувшими от стыда глазами Костик вжался спиной в деревянные перила.

Отступать было некуда. Он помотал головой.

– Не убежишь, – сказала старуха со счастливым смехом и опять сухой ладошкой погладила его по щеке.

– Убегу, – пряча лицо под распахнутый ворот куртки, упрямо проговорил он.

Едва бульдог отступил, Костик бросился в открывшееся пространство. Сбежав с моста, перешел на шаг. И скоро река опять поглотила его внимание. С часу на час должен был тронуться лед. В прошлый год мостовые опоры выдержали, зато на Стрелке вода повалила электрические столбы, и случился пожар. А в этот раз напора льда опоры могут и не выдержать. Неужто из-за школы пропускать такое зрелище? Костик очень любил пожары и разрушения. Но от старухино бульдога надо было уходить, и он перешел на дальний край мальчишеской ватаги, растянувшейся по берегу.

Старуха с трепетным чувством проследила за исчезающим подростком, его странной подсакивающей походкой, точно он с малых лет ходил в тяжелых башмаках. И эта несуразность наполняла ее еще большей нежностью. Вот среди плакучих деревьев мелькнула его фигурка и пропала, оставив память в душе и ощущение свежей холодной щеки, которую она все еще чувствовала пальцами. Такой смелости она раньше себе не позволяла.

От солнечного света облака куда-то испарились. Небесная синева раскинулась на всю видимую ширину. Ручей, пробивавшийся вдоль дороги, побежал веселее. Но его не стало слышно в шуме поднявшейся реки. Половодье набирало силу. Вода начала затапливать низкие луговины, а в теснину под мостом врывалась с угрожающим шумом. И совсем немного оставалось ей до самого верха.

Но внешние звуки мало действовали на старуху. Она вновь увидела себя молоденькой и дрожащей, убегающей из дому в такое же время. Ей виделся Андрей, ожидавший за углом дома кабатчиков Мызниковых. Он уже сидел в извозчицкой пролетке и в своей черной поддевке показался ей неправдоподобно огромным. Цыганские брови черным пушистым шнуром перечертили лоб. Горящие глаза добирались до самого нутра. Нетерпеливо поглядывая, он первым ее, бежавшую, увидел. Подхватил раздетую, продрогшую, закутал в распахнутую медвежью полость, согрел. Ей до сих пор чудился густой и сочный, как у певца, голос:

– Но, пошел!

Петь он не любил, этого пустяшного занятия не признавал. В нем кипела энергия повелителя. А по рождению и возможностям жизнь сулила тихое бытие, стиснула огромные крылья деревянными бревнами приходской школы. Разве мог он в таком положении долго терпеть? Выход его энергии дали тайные общества, блуждания по стране. В этих блужданиях он таскал Марию с собой, и она вместе с ним терпела лишения, голод и холод, полагая по молодости и несмышленности, что другого счастья не надобно. С Андреем было тепло в стылой избе, сытно в голодуху. Не характер был у человека – динамит.

Странно, что кипучей его энергии не хватало даже для одного мелкого хозяйственного дела. Однажды полгода чинил табуретку, и в конце концов ее пришлось сжечь. От рождения или воспитания, но вышло так, что руки его, могучие, красивые, словно скульптором вылепленные, не были приспособлены для работы. Если он брался прибивать доску, гвоздь непременно шел криво. Пробовал пахать – выходила чересполосица. С ним кони быстро выбивались из сил. Мог подковы гнуть руками, но за год работы у козыревского кузнеца так и не слепил ни одной. Все получалось косо, несоразмерно. Что же! Одному в дар – молот, фуганок или

соху. А у Андрея другая отмычка к жизни – забористая речь. Ну что, если не испытывал он интереса к муравьиным кропотливым делам? Мария сознавала, что без этого мелкого копания не было бы на земле ни машин, ни домов. Так ведь каждому свое. Андрею судьба судила иное: выметнуться впереди толпы, кинуть огневое слово, чтобы глухо заволновалось и забормотало черное месиво недовольных, сдавленных уличными стенами людей, чтобы хлынули они, куда махнул его указующий перст, – такая жизнь была по нему!

И Мария вместе с ним втягивалась постепенно в такую жизнь.

Один миг власти над толпой давал им столько необычайного забвения, забрасывал в такие заоблачные высоты, куда бы их не донесли деньги, миллионы, заработанные заурядным, допотопным и добропорядочным способом.

Бедный добрый отец, поняв в конце концов безнадежность дочкиной судьбы, предлагал Андрею скорняжную мастерскую, из которой со временем можно было сделать фабричку. Но Андрей лишь презрительно рассмеялся и обнял Марию.

– Тебе что? Хочется вечно жить в этом пыльном сарае? – спросил он.

Мария глядела на него влюбленными глазами и ничего не отвечала, потому что слова могли погасить энтузиазм Андрея и просветленность его богатырского облика. Густые брови, словно скрученные из проволоки, длинные прокуренные ресницы, ясный синий взгляд – да разве можно было ему перечить, губить окрыленность?

Внутренне Мария сознавала, что он по складу натуры никогда бы не удержал в руках какого-то конкретного ремесла. Только стихия полета его увлекала. Неужто, имея тонкую душу и неумный взрывной характер, он должен был в самом деле шить тулупы из шкур?

Он погиб как вождь и был по природе вождем.

Когда в Ростове вольнонаемные начали громить магазины, Андрей оказался во главе.

Поначалу Мария шла рядом, понимая, что может быть нужна. Но Андрей уже не видел ее и парил. Ничто не занимало его вокруг, кроме цели, ничто не могло удержать – ни жена, ни мать. Да он и не помнил ни о ком. Вдохновленный и радостный, он будто спускался на землю с иной планеты. Земные законы для него не действовали. И Мария отчетливо понимала его состояние.

Никогда она не видела его таким красивым, как в тот миг, когда урядник выстрелил. Андрей не сразу рухнул, а медленно повалился, огромный, величественный. И вся толпа – мелочь, босяки, не стойившие одного его великаньего вздоха, – в ужасе расступилась и дала ему упасть.

Он приучил ее не бояться толпы, и она первая опомнилась. Урядника оттеснили, но она стала пробиваться к нему до самого последнего мига, до беспамятства, которое на нее вдруг навалилось.

Наверное, Андрей обречен был погибнуть посреди бурлящей взрывной энергии масс, которые подпитывали необычайные силы своего вожака, но после гибели тотчас забыли о нем.

Но она отомстила. Урядника того спрятали, перевели в другое место. Однако Мария отыскала главного виноватого, который посылал каждый раз десятки таких урядников. Проходя среди бела дня вблизи градоначальника, выстрелила в упор.

«Он жив? Он жив?» – плача спрашивала она, пытаясь увидеть сквозь спутанные волосы то место, где стоял градоначальник. И этот промах казался ей большим несчастьем, чем своя загубленная жизнь.

Она очнулась немного после встречи с отцом. Неузнаваемо постаревший, он глядел на нее слезящимися глазами и не мог понять: отчего она, воспитанная на «Красной Шапочке», взяла своими тонкими пальцами пистолет и выстрелила в совершенно невиновного человека? Больше того – в законную власть?!

Мария не плакала, не жалобилась. Уже давно она относилась к старому отцу с двойственным чувством: жалела, то есть, казалось, любила его. И в то же время отчетливо видела, Андрей

внушил ей эту мысль, что отец при всем своем богатстве ничего не понимает в происходящем и ни в чем не разбирается.

Все отцовские алмазы оказались бессильны. Случай ее стал известен в Петербурге, и полиция вцепилась в Марию накрепко.

Каторжные законы в России всегда были страшны, а их толкование беспредельным. Пока длилось следствие, тюремщики по очереди входили в камеру Марии. Измывались по-всякому, а беременность не нарушили, и сына Костеньку она выносила.

– И чем же тебе царь-батюшка мешал выкармливать дитя? – жалостливо спросила сиделка в тюремной больнице.

Февральское отречение открыло перед ней двери темницы. Ее ждали, и она, явившись с новым знанием, взялась выполнять «мужнины заветы».

Победное дело Андрея, его одержимость захватили Марию целиком. Однажды ей пришлось встретить свою знаменитую тезку Спиридонову. Случилось это как раз накануне роковых июльских событий. Потом она ни от кого не могла узнать, как было на самом деле. Но по своей жизни, по тому, как ее неожиданно и беспощадно схватили и потом судили неизвестно за что, отбивая почки на дознании, она поняла, что попала в сердцевину схватки за власть, и кто тут виноватее: эсеры или большевики, – знают единицы, а может быть, и тех уже нет.

Мир, который она создавала всею своею жизнью, крепчал и наливался силою. А ей суждены были ржавые тюремные решетки. Через царские каторги она прошла бы и дальше, не дрогнув. А собственная каторга, которую она устроила своими руками, надломила. Собственная каторга оказалась страшнее царской.

Костенька помер, когда она сидела в Зайсанской тюрьме уже при большевиках. Потом ее ненадолго освободили. Будто подбросили, как мышь, не выпуская из шкуры коготки. Затем упрятали вновь. И теперь, похоже, старая история скоро повторится. Она это чуяла.

Ладно, ее жизнь погублена. А у этих нищих оборвышей, что шумят на мосту? Тоже, небось, пойдут под топор, согласно российскому обычаю... Погибнут... многие из них. Как погибло, выбито ее поколение. Крепкое, чистое. Кто бы раньше это мог вообразить? В начале века, например... Да при нашествии монголов гораздо больше русских уцелело, хотя там резали и жгли без разбору, безо всяких высоких слов о свободе и справедливости.

2

Неожиданная ласковость старухи смутила долговязого подростка. К другим ребятам кикимора была равнодушна, а ему не давала проходу. Серый подумал, что если она опять встретится на пути, он прибьет ее камнем. И все же, когда странная парочка исчезла за деревьями, ему сделалось грустно.

Мать никогда не гладила по лицу. Только ругала. И прикосновение сухой и легкой старухиной ладони вызвало у него непривычные ощущения. Он как будто перестал бояться матери и решил не пилить вечером дрова, а пойти на гулянку, за бугор, где по субботам играла гармошка. А мать пусть потом лается. Вдали от дома он меньше опасался материнских затрещин, нутром чувял, что мать становится стара и немощна. С тех пор как отца зарезало поездом, она год от года слабела. Зато ругань ее становилась все более пронзительной и липучей. Начав кого-нибудь ругать, она долго не могла остановиться. Ни про кого из соседей доброго слова не вымолвила и сына к тому же приучала. «Все они прохвосты, жулики, проходимцы. Чужой беде рады. А чтобы помочь – никогда!»

Похоже, у нее был один свет в окошке – погибший муж, даже не сын, и она каждую свободную минуту шла на кладбище, к железной дороге. Там, возле избушки путевого обходчика, отца и нашли. Хотели уголовное дело заводить. Прошел слух, будто убили его. Мать до сих пор уверена, что не сам он погиб, подстроили это, и пострадал он будто бы за совесть и честь. Только время шло, а дело никак не складывалось. Потом и вовсе заглохло. И осталась в доме на стене фотография незнакомого бородача в болотных сапогах, с ружьем. На памяти сына отец бороду не носил. От этого возникало в нем чувство отчужденности, отверженности. Да и сам он никогда не чувял себя частицей отца, удался в мать – блеклыми бесцветными глазами, редким прямым волосом и круглым, будто скалкой раскатанным лицом. Кличка Серый прочно закрепилась за ним, и он отзывался на нее охотнее, чем на имя.

Начало припекать. На северном берегу реки еще лежал снег, а на солнечном его не осталось, кое-где начала пробиваться трава.

Река зашумела сильнее.

Костик вдруг подумал, как незаметно прошла зима. Наверное, самая долгая из последних зим. Они с матерью часто голодали, Костик иногда лежал на скамье, мечтая о куске хлеба. Но это почему-то не осталось в голове. Зато стылые утренние потемки в школе вспоминались ясно и празднично.

Ворваться бы сейчас в ту раннюю темь, когда на высветленную снегом землю пробивается зеленоватый рассвет. В школе никого нет, сгорбленная нянечка в сером платке не в счет. Зато печь ею давно затоплена и уже дает жар. Потрескивают дрова за чугунной заслонкой. Рядом, на прибитой к полу железке, лежит аккуратная охапка осиновых, вперемешку с березой, дров. Верхние поленья мокрые от растаявшего снега, а нижние еще хранят стылый дух морозной зимней ночи.

В такие минуты короткого радостного одиночества хотелось прижаться к печке, согреть заледеневшие ладони и ждать чуда. И оно, вернее «она», непременно являлась. Сперва это была Галя Широкина с огромными глазами и длинной косой. Потом ему улыбнулась и приковала внимание Ксюша Лапина, по кличке Пони, самая маленькая в классе. И все в один год. А когда Зина Клепа выручила в общей свалке, спасла от клешнятых рук Витьки Лыкова, сердце Костики начало таять от одного ее вида.

Была Клепа высоченная, длиннорукая. Но тянуло к ней, как магнитом. Жила она не в общем поселке, а в сторожке путевого обходчика, возле которой нашли Костикина отца. Один раз даже Костик проводил ее, так нечаянно получилось. Он боялся, что ребята узнают, но Клепа не проболталась.

Мимо проносились поезда, одни в Москву, другие из Москвы. А где эта Москва, обоим было неведомо. Конечно, в мыслях своих Костик хорошо представлял Москву – сплошная Красная площадь, а на ней танки под красным знаменем, Ворошилов и Сталин. Такая картина висела в школе на видном месте. Чтобы каждый, кто не был в столице, мог ее представить. Ворошилов на картинке нравился больше, чем Сталин, потому что у него ордена были надеты поверх шинели. На танках – флаги и звезды. Наверное, в Москве попадались и обыкновенные люди, но это было не главное.

Повернув голову, Костик глянул поверх дороги, где виднелся поселок – бесформенная груда бараков, ни улицы, ни тупика – Горелая Роща. В середине темных строений поднималась двумя этажами крашенная суриком деревянная школа. Когда-то хотели из Горелой Рощи сделать большой город-завод. Только строительство, которое тут намечалось, перенесли куда-то в другое место. Люди постепенно разбежались. Некоторые бараки опустели. Поселку дали название Октябрьский. Но жители между собой называли его по-старому – Горелая Роща.

В последнее время рядом стали быстро строить военный городок, и учеников в школе сразу прибавилось. За столами сидели по трое. Кроме Костики и Клепы возник еще горбунчик Петя. Но скоро в класс внесли еще несколько столов, и Петю отсадили.

Клепа чувствовала себя хозяйкой и таскала у Костики без спросу новые тетрадки, резинки, учебники. Костик притерпелся. Но когда она сломала его большой двухцветный карандаш, которому завидовал весь класс, Костик, наверное, посинел, а может, позеленел от злости, так его заколодило. Не помня себя от горя, он обалдело поглядел на Клепу. Зинка ничего не поняла и даже хихикнула. Тогда его затрясло как в лихорадке. Вырвалось слово, которое до этого вовсе не сидело в голове. И он завопил изо всех сил:

– Каланча!

После этого дружба, конечно, сразу закатилась и вскоре перешла во вражду. Дошло до драки. И весь класс видел, как Зинка, безо всяких правил, била его галошей по голове. А Костик так и не сумел пролезть сквозь ее длинные руки.

Не будь той ссоры, не пришла бы неслыханная удача, которая целый месяц занимала мысли Костики. У него началась жизнь, какой не было ни у кого другого. В классе появилась новенькая. Костик помнил, что красавицей она оказалась потом. А сперва села рядом, невзрачная, как все новички. Прямая спинка, желтые косички цвета спелой соломы. А глаза черные, такие же бровки, будто накрашенные. Привел новенькую отец, военный. Мальчишки благоговели перед военными. Учителя тоже. Уж как они рассыпались в похвалах! Будто не тоненькая маленькая девочка пришла учиться, а сам гигант-отец с розовым крепким лицом и пшеничными усами. Директор суетился и норовил забежать вперед. Рассказывал историю здешних мест, доходя до Кондрата Булавина. Он был говорлив, как все историки. Завуч с пылающим лицом старалась как могла, вставляла замечания, не мешая при этом директорскому красноречию. Военный слушал сдержанно. А чего переживать, если у него в петлицах крепко сидели алые командирские шпалы, а на гимнастерке отсвечивал багряным светом привинченный орден, точно такой же, как у Ворошилова.

Само собой узналось, что он совершил подвиг на границе – задержал вооруженную самурайскую банду. Был ранен, а потом награжден.

Быстро стал большим командиром и приехал с Дальнего Востока сюда, чтобы командовать дивизией. В таком сказочном возвышении не было ничего удивительного, потому что вся жизнь вокруг была, по учительскому внушению, не обычной, а сказочной.

На день Красной Армии новенькая вместе с другими девочками танцевала и пела, прихлопывая в ладошки:

«Ай, дин-ди, калинка моя,
В саду ягода-малинка моя...»

После праздника они добежали до парты вместе, и Костик обнаружил рядом с сумкой вкусно пахнувший пирожок. На одно мгновение новенькая скосила черный глаз в его сторону, словно ждала открытия. И он оделся жаром:

– Ты?!

Она рассмеялась и протянула руки:

– В какой руке ириска?

Он отгадал и выиграл.

Любовь, вспыхнувшая с необыкновенной силой, еще не называлась любовью. Но Костик ходил сам не свой. Имя Надя казалось ему удивительным. Фамилия Васильева вообще не встречалась никогда.

Они почти не разговаривали. Но однажды, набравшись храбрости, он подарил ей куколку размером с ладонь. Поначалу она не подала виду, но глаза ее засветились от радости. Он мог без ошибки сказать сам себе, что подарок пришелся ей по душе, потому что через несколько дней она принесла ему самый настоящий командирский ромб.

Конфеты и фантики он уже не считал и скоро привык глядеть так, словно соседство по парте сближало его с Наденькой и давало ему над ней какие-то неясные права. Но потом словно оборвалось.

На берегу, возле моста, появились девочки и среди них Надя.

Отыскав в кармане ромб, Костик зажал его в мокрой ладони. Однако это не принесло радости. Надя стояла далеко, но он видел тугие желтые косички и темные, будто нарисованные, брови. А главное, рядом с ней крутился рослый Борис Чалин, вскидывая с особым шиком сумку на ремне. Надя уронила варежку, и Костик целую вечность наблюдал, как Борька Чалин наклоняется, поднимает красный клочок, вручает Наденьке. И та смеется.

Утром, словно впервые, Костик заметил, что Борискины усики, легким пушком пробившиеся на верхней губе, делают его взрослее. А бесшабашный взгляд показывает отвагу. Раньше Наденька ему, Костику, придумывала подарки, подвигала тетрадку для списывания. Неужто теперь все это Бориске?

Высокая волна ударилась о край моста. Колющие брызги долетели до ребят. Костик вместе с другими вынужден был отойти. Река совсем развоевалась. Наконец тронулся лед! Первые глыбы, ударившись о волнорез, разломились и прошли под мостом. На обнаженный, отвоеванный у снега берег все дальше выбрасывался ледяной вал, оставляя на холодной земле пригоршни стылых льдистых кружев. Волны плескались у дорожного полотна, а между сваями моста бушевали так, что мокрые перила дрожали от напряжения.

До некоторых льдин можно было дотянуться рукой. Конечно, первым это сделал Борька Чалин. Одноглазый Чиж в азарте едва не свалился в воду. Братья Лыковы, вооружившись багром, сталкивали застрявшие льдины с волнореза.

Подражая смельчакам, Костик тоже наклонился, судорожно ухватившись за деревянные перила. Прямо на него катила высокая волна, пронизанная белыми столбиками крошившихся льдинок. Большие белые глыбы, как тяжелые полузатопленные корабли плыли, покачиваясь, на середине разлившейся реки. Если бы она такой оставалась летом, по ней, наверное, могли ходить пароходы.

Чалин раздобыл где-то железный крюк и стал цеплять проплывавшие льдины. Ему всегда везло. Одна белая глыба врезалась в берег. Борька зацепил ее, потом передал крюк другим ребятам и велел держать. А сам прыгнул на льдину и принялся выплывать. Надя смотрела на него такими глазами, что Костику стало неловко. Но ступить на льдину он побоялся и стал отплывать на берегу.

И все же Борькины восторги держались недолго. Подоспевшая волна приподняла скользкий обмылок. И тот, качнувшись, поплыл дальше. Под общий крик Бориска рванулся к берегу

с вытаращенными, как у кота, глазами. Но льдину развернуло быстрее, и Борька чуть не ска-
тился в воду. Старший из братьев Лыковых, провалившись по колено, дотянулся багром и
задержал льдину. Наконец Борька изловчился и прыгнул. Белая глыба качнулась под ногами,
но выдержала, даже толкнула будто. И Борька, кубарем перевернувшись, очутился на берегу.

Расходились весело. Надя опять ушла с Борисом. За какие-то полдня их дружба укрепил-
лась так, словно они готовились целый год. Костик ничего не мог понять. Что-то грозное и
непоправимое чудилось ему в двух удалявшихся фигурках.

* * *

Как они отстали от других, оба не помнили. Мир вокруг сделался как бы туманным
шаром, внутри которого отчетливо виделся низенький колодец. На краешек его, на бревнышко
присела Надя. В колодце плавало кем-то брошенное ведро. Наденька с Борисом весело смея-
лись, глядя в него и на свои отражения в чистом квадратном зеркальце, неподвижно стоявшем
в глубине.

Борис хотел спуститься по веревке и достать ведро. Наденька его отговаривала. Он повто-
рял: «Я глубины не боюсь!» А Надя возражала, смеясь: «Не смей! Ты что?» – и даже толкнула
его варезкой в плечо, чтобы удержать.

От этой внезапной близости он взглянул на нее прямо:

– Ты кого любишь?

Она распахнула ресницы от удивления, но ответила точно:

– Тебя.

– А я тебя! – сказал он очень серьезно и добавил горячо, торопливо, словно их могли
услышать. – А как же Серый?

И она взглядом, плечами, поворотом головы изобразила, как взрослая женщина, что
вопрос этот не требует внимания и ответа.

В туманном шаре исчез даже колодец. Они остались только вдвоем.

* * *

Вода в реке прибывала. Но после ухода Наденьки это стало неинтересно. Костик бес-
цельно глядел на волны, которые с одного края уже перехлестывали через мост. Из-за полово-
дья занятия прекращались на несколько дней, школа находилась за железной дорогой. Костик
хотел двинуть домой, но одна льдина с каким-то черным предметом привлекла внимание.
Сперва почудилось, будто на ней лежит человек. Потом сундук. А вышла обыкновенная табу-
ретка. Столкнувшись с мостом, льдина не обломилась, а поднялась, как тонущий корабль.
И, тихо скользнув, исчезла в зеленой пучине. За мостом вынырнула, но уже без табуретки.

Костик собрался уходить. Но вдруг увидел плывущую прямо на него водяную крысу и
оторопел.

3

Молодая ондатра плыла среди льдин, переворачиваясь и стараясь зацепиться за берег. Она была ранена, и ей никак не удавалось собрать остаток сил, чтобы вылезти из воды и отдохнуть на твердой земле.

Она уже не помнила, как началось утро, когда она заплывала на мелководье в поисках корма, и на нее напали собаки. Обычно она легко уходила от любой погони. Но тут ей не хватило глубины. Они настигли ее, громадные псы, забрызганные грязью. И ей пришлось отбиваться. В последний момент, когда она прорвалась на глубину, один пес все-таки зацепил ее шкурку, и теперь она не могла одинаково хорошо работать всеми лапками. Ее сносило, и она выбивалась из сил, теряя сознание от усталости и боли. Она уже не помнила, что плавала когда-то вольная и свободная. Ей казалось, что боль сопровождала ее с самого начала, что боль – это и есть сама жизнь. Преодолевая себя, она продолжала бороться с течением и старалась вырваться из середины струи, чтобы набегающие волны не волочили ее в бесконечную пугающую даль, куда стремилась река. Может быть, борьба эта не пропала даром, и последней мягкой волной ее вынесло на песчаную косу. Прикрыв лапкой кровоточащий бок, молодая ондатра перевернулась, чтобы отдалиться от края бурлившей воды, и долго лежала на мокрой пологой отмели, как убитая.

* * *

Выгнув шею от ужаса при виде дохлой крысы, Костик застыл, позабыв про холод и мокрые ноги. Он впервые видел не мышь в ловушке, а дикого зверя на воле. Долго не решался приблизиться. Постепенно оторопь прошла. Неподвижный зверек перестал внушать опасение. Костик отыскал длинную палку, чтобы столкнуть зверька обратно в реку. Но едва он прикоснулся сломанным острием, крыса вдруг ожила и поползла вверх по берегу.

Отступая в страхе и проваливаясь в талом снегу, Костик несколько раз ударил ее палкой. Других мыслей, кроме как убить, у него не было. Крыса стала искать спасения в бегстве. Но рыхлый мокрый снег мешал движению. Она провалилась почти до самой земли, когда сильный удар настиг ее. Потом посыпались еще и еще. Ее опять кинуло в беспамятство, от которого она едва отошла. Но исполинский враг чуялся ей даже во сне. Тогда, очнувшись, ондатра в последнем отчаянном усилии повернулась и поползла вперед, на врага, который занимал полнеба и казался страшен. Но ей уже нечего было терять.

Разрумянившийся, распоясанный Костик хлестал извивающегося маленького зверька с победительным чувством. Если бы кто-нибудь сказал ему, что он делает зло, он бы вспыхнул от гнева. Бросив изломанный прут, он выбрал другой, покрепче. Поднял с торжеством в раскрытых льдистых глазах. И вдруг победительное чувство исчезло, и страх сковал его движения. Ондатра раскрыла окровавленную пасть и повернулась к нему. Вместо того, чтобы уползти, она нападала и приближалась. От ужаса Костик упал и, поскуливая из-за накотившей паники, начал царапать снег, пытаясь подняться. Теперь, когда роли переменились и нельзя было безнаказанно убивать, пришло другое, жуткое явственное ощущение своей близкой гибели. Каждая минута страха дорого стоила. Кожа на голове заледенела, и волосы, точно на морозе, стали отделяться.

Когда крыса остановилась и прилегла, умерев, он провел рукой, убирая с глаз налипшую прядь. И между пальцами остался густой серый комок.

Через несколько лет, поглаживая раннюю лысину, он придумает морскую катастрофу, из-за которой волосы стали выпадать. Крысу, конечно, не назовет. А люди будут верить или не верить, поглядывая на жидкие пучки волос, зачесанные за уши.

Но это случится много позднее. Теперь же, ничего не соображая, он стоял, тупо уставясь перед собой. Время от времени вычесывал пальцами волосы и машинально брезгливо сбрасывал их на снег.

Опять стал слышен шум реки. Он поглядел на берег. Крыса лежала на боку неподвижно. Открытая маленькая пасть опять показалась ему страшной. Он не помнил, как выбрался на дорогу. Холод пробирал от мокрых ног до самой макушки. Один валенок хлюпал, галоша слетела с него в каком-то рыхлом сугробе. И Костик представил, как попадет теперь от матери. Но первым делом надо было согреться. Мысли, как и шаги, давались все труднее. Он пошарил в кармане, но ключа там не оказалось. Костик подумал, что может погибнуть, если не согреется, и паника липкой холодной змеей начала заползать в душу.

Увидев неожиданно впереди знакомую старуху с бульдогом, он уже не стал искать камень, а только молча ждал, когда зловещая парочка пройдет.

Но они остановились.

– Разве можно так промокать? – послышался скрипучий голос, полный печали и жалости. – Заболеешь... Беги домой!

Нагнув голову, чтобы не выдать полыхнувшей злости, Костик хотел метнуться в сторону или надерзить. Однако холодом заколодило даже злость, и она, вяло махнув шипастым хвостом, уплыла куда-то в темь, в сторону. А впереди забрезжил свет неясной выгоды.

Придерживая шапку, он оглядел высокую старухину фигуру, узкие плечи, черный колпак на голове и ответил весело:

– А некуда мне идти!

Тогда что-то изменилось в склоненном к нему сухом морщинистом лице. Старая женщина пристально-страдательно поглядела на него, что-то высчитывая:

– Ну что же... Пойдем ко мне. Обсушимся, – произнесла она с некоторым колебанием и странным выражением, которого он не понял. – Вон мои хоромы. Рядом...

Костик заметил маленькую избушку на краю поселка. Передняя часть ее утонула в земле по самые окна, а задняя удержалась. Отчего крохотный домик с желтой крышей напоминал поросенка, который, подмяв передние ножки, собрался ковырять рыльцем землю. Он представил свой дом. Не ахти, а все же... И презрительно глянул на старуху. Но выхода не было.

«Хоромы» состояли из одной маленькой комнаты с печкой в углу. Костик деловито разделся, взял рыжее байковое одеяло, показавшееся ему горячим, и закутался. Мокрые валенки вознеслись на печку, штаны повисли возле трубы под самым потолком. Пока одежда сохла, он получил несколько картошек, подрумяненных в печи. Без масла и хлеба. Про себя он подивился, что находятся люди, которые живут еще беднее, чем они с матерью. Но, к его удивлению, старуха как будто не стыдилась своей нищеты, а скорее наоборот, и двигалась горделиво, будто отдавала самое дорогое безо всякой жалости.

Бульдог тоже сожрал картошку и залоснился довольный, точно поймал в лесу изюбра и насытился на неделю вперед. Костик же едва утолил голод, и, только напившись чаю, начал соображать. Он привык не думать о последствиях или причинах своих поступков. Однако новое приключение ему понравилось. Поэтому он с веселым видом долго рассказывал про свои несчастья и одиночество. Ему было неведомо, что старуха вообразила, будто он ей напоминает сына. И у нее отлетают все мысли о государственном переустройстве и борьбе. Остывает жгучее желание найти прежних товарищей и начать все заново. Она просто сидела прямо и глядела строго, чтобы не выдать закипавших слез. А в таком состоянии складывался сам собой разговор об учебе и пользе знаний. Костик совсем скис. Легкий настрой разговора все время сбивался. Выручил невесть откуда взявшийся котенок. Разворошив груды тряпья на печи, он

уцепился за висевшие мокрые штаны и от неудобства шлепнулся на пол. Прошел по половине, как по улице, понюхал бульдожье ухо и прыгнул с табуретки на стол. Прежде чем старуха его прогнала, Костик достал из кармана резинку с бумажным шариком и начал двигать перед собой. Глаза у котенка расширились от невероятной удачи. Он поднялся на лапках и, казалось, сделался легче пуха. Оставалось прыгнуть. Но из этого волшебного мира он был вышвырнут безжалостной рукой.

– Фу! – сказала старуха. – Нельзя на стол.

Костик взял смятый шарик и положил обратно в карман.

Старуха долгим изучающим взглядом смотрела на него, приспосабливаясь к новому уровню понимания и общения. Мысленно она исправляла ошибки президентов и королей, но говорить об этом с угловатым ограниченным подростком не имело смысла. При близком рассмотрении он меньше напоминал ей сына. И, конечно, ничего бы не понял в тех фантастических проектах государственного переустройства и критики большевистского режима, с которыми носилась она. Но свои размышления она как бы примеряла к его судьбе. Костик собрался было уходить, но был остановлен изумившим его вопросом:

– Дочка Васильева учится в вашей школе? – тихо спросила старуха.

– Да. А что? – обалдело уставился он.

– Я помню Васильева по двадцатому году, – загадочно промолвила старуха, уходя в себя.

Она бы могла сказать, как готовила восстание в Саратове. Но туда вошли красные эскадроны под водительством того самого Васильева. И планы социалистов-революционеров разрушились. А были верные люди. Главный боевик Зыкин стучал кулаком, настаивал на выступлении. Однако большинство решило ждать. Но повторной возможности уже не представилось. Выходит, прав был Зыкин, а не она.

Если бы тогда не Васильев...

– Молодой был, – произнесла она. – Красавец.

– Я в том году родился. А вы и тогда его знали?

– Знала... Я всех знала, – прозвучал непонятный ответ. – Сколько, ты думаешь, мне лет?

Костик пожал плечами.

– Откуда?..

– Тысяча! – услышал он и не поверил своим ушам.

– А?.. – только и смог произнести, но еще быстрее подумал, что хозяйка избушки ведьма.

– Думаешь, так не бывает?

– Не-а...

– А у меня столько накопилось опыта, что хватит на тысячу лет. Вот поэтому гости в милицейской форме ко мне и заходят. Следят, чтобы поменьше читала, вовремя гуляла, соблюдала режим. А ты режим соблюдаешь?

– Соблюдаю, – проговорил Костик, наслаждаясь чужим сочувствием. – Если можно... А когда есть нечего, зачем его соблюдать?

Он давно понял, как надо жить. И часто любил прикинуться несчастным и жалким. Тогда как бы все само шло в руки – сочувствие, блага, вседозволенность.

И точно.

Старуха вынула из чугушка последние две картошки и положила перед ним. Он быстро съел и задумался. Покой снисходил в его душу легкими теплыми волнами. Спать было не на чем. Но и уходить не хотелось.

На подоконнике стояли цветы в плетеных горшках – пышные гloxинии, герань, фиалка. Мать тоже любила цветы и поливала старательно. Только у нее почему-то они не росли, а быстро увядали и никли. Она приносила новые, но и с теми повторялась та же история. А тут перед стеклами буйствовал целый сад.

За окном виднелись голые ветки уцелевших яблонь и новые бараки для строителей. Пока в них жили командирские семьи. Военный городок никак не могли достроить. По сравнению с бараками домик под желтой крышей казался совсем древним и, судя по разрытой кругом земле, доживал последние деньки. Раньше тут кругом были сады, но поселок разрастался и наступал. Фруктовые деревья выкорчевывали с такой поспешностью и беспощадностью, точно человек нашел другой способ, помимо природы, выращивать яблоки и наслаждаться их вкусом. Никто не пожалел, никто слова в их защиту не сказал.

Глядя на безобразные рытвины на месте старых садов, Костик повторял не свои мысли, а услышанные от других, взрослых. Но эти мысли давно казались ему собственными, и он снова подумал с негодованием про всеобщее молчание. Как будто защищать деревья и с ними всю уходящую красоту стало неловко и зазорно.

Глыбы разрытой земли показались странно знакомыми. Еще больше наклонившись, он увидел из окна вдали угол зеленого дома, в котором жила Надя Васильева. Комната ее была на первом этаже. Когда начиналась дружба, он подсмотрел однажды за ней в окно. Дождался темноты и, крадучись в кустах, приблизился к зеленому дому. Потом долго глядел в освещенное пространство комнаты, где Надя ходила, напевала что-то, вертела куклу и смеялась. Мать ее в синем цветастом халате, похожая на шамаханскую царицу, рассказывала, видно, что-то очень веселое и сама улыбалась, отчего лицо ее выглядело моложе и добрее.

Именно тогда он осознал нерешительность и робость, ничтожность своей роли в той далекой прекрасной жизни, понял, что мир устроен не для его блага и радости. Не голод, не побои, а именно созерцание далекой прекрасной жизни подвело его к этой мысли. И все равно, пока Бориска дорогу не перешел, ему чудилась какая-то фантастическая возможность приближения к тому загадочному миру, который являла собой Надя и ее семья.

Даже когда он перегнал ее в росте, Надя глядела на него свысока. Она стала единственной, неповторимой, и он с ужасом осознал, что никто не может сравниться с ней. А как хотелось забыть! Но он словно получил прививку против сентиментальности и добрых чувств к другим женщинам. Когда он, повзрослевший и сбросивший ученические вериги молоденький лейтенант, принялся разыскивать Надежду, все переменялось. Прежняя любовь загорелась вновь. И у Костика, Кости, Константина Михальцева появилась уверенность, что на этот раз он не будет отвергнут.

Однако поиски затянулись. Надиного отца перевели куда-то, и след его затерялся. Многие одноклассники разлетелись. Первым попался адрес Зины Клепы, и Костик помчался к ней на перекладных: поезд, извозчик, пять километров пешком. Зинка давно уехала из Горелой Рощи, но расстояния в то время не имели значения. Хотелось и Клепе показать себя, и уж выведать непременно важные сведения про Надежду.

Клепа жила в длинном дощатом бараке. Встретила его на пороге с пустым ведром, в рваненьком платьице, побледневшая, похудевшая. Глянула непримиримо, как прежде, и он понял, что привета ему не будет. И все же, войдя и расположившись за столом, под шум закипающего самовара, он стал говорить о себе и своей жизни те слова, которые приготовил для Надежды. Его распирало желание доказать, что раньше его не ценили, а вот он достиг многого, оказался удачлив по сравнению с другими, которых хвалили и взращивали. Если бы он мог разговаривать с собой, он бы честно заявил, что доволен такой разницей в положении. Мало того, оно им заслужено благодаря уму, глубине душевного склада, расположению тех таинственных сил, которые определяют судьбу.

Он ей не сказал этого, но взглядом выразил ясно.

Комната у Клепы была маленькая, обшарпанная, неизвестно как ей доставшаяся. Поцарапанная клеенка на столе, блеклые занавески поперек единственного окна, узкая кровать с потертым байковым одеялом – не для двоих. И однако фотография карапуза с вытаращенными глазами говорила о том, что жизнь Клепы не прошла без крупных перемен. Несколько слов

хватило, чтобы выяснить: да, сын, да, ясли. Мужа, естественно, нет. И Клепу это, похоже, не заботило. Михальцев подумал, что она с рождения была задумана как оторва, которая мчалась, не разбирая дорог и ни в чем себе не отказывая. Чужой опыт или совет для нее – тьфу и рас-тереть. Она сама себе капитан и кормчий. Только корабль у нее без руля и ветрил.

На вопрос о муже Клепа так и ответила:

– На кой он мне?

А между тем к чаю ничего, кроме черняшки да засушенных леденцов, не было. Нужда не только стучалась в дверь, а давно уже расположилась посреди комнаты.

О том, что может случиться в жизни женщины, Михальцев имел весьма смутное представление, несмотря на свой лейтенантский чин. Но уже приучился глядеть на людей, как на солдат, с выражением неистребимой правоты. От советов удержался, но мысленно сравнил Клепу с паровозом, который, сойдя с рельсов, будет рвать и кромсать шпалы до полной остановки. Ему показалось, что Клепа сама это чувствует.

В тесноте бедняцкого жилища он чувствовал себя огромным, неповоротливым, лишним. И все же долго пробыл, выпил целый самовар с остатками леденцов. И чем больше пил чая, тем больше успокаивался. А Клепа металась по комнате молча, садилась на кровать, вставала, бралась за веник, роняла. Он сперва подумал, что в ней разыгралась прежняя любовь. А потом понял, отчего: жалела хлеба и леденцов. Больше-то не было.

Про Надю Васильеву она ничего не знала, как, впрочем, он с самого начала допускал. Никакой пользы от Клепы ему не досталось.

Может быть, даже знала и нарочно не хотела говорить. В конце концов ее метания окончились, она переломила себя и села напротив так же молча и прямо. Рваные плечики на платье зажала пальцами.

– Какие тебе еще сведения нужны?

– Да нет, ничего, – ответил он.

Немыслимая развалюха сотрясалась, продуваемая холодным осенним ветром. Так началась их молодость.

Эту молодость Костик не мог угледеть из окна старухиной избы. Но вдруг сделалось тихо. Необъяснимая тревога, волнение, неуверенность овладели им. Угол васильевского дома сделался черным.

4

Училище он закончил перед самой войной. И только что не летал на крыльях. Словно только ему судьба подарила лейтенантские кубари. После голодного детства, о котором не хотелось вспоминать, жизнь начала складываться так благополучно, что он удивлялся чуть не каждый день. Матери писать не успевал. Зато первый отпуск провел в Крыму, повидал Москву и получил хорошее назначение в округ – не какой-нибудь, а особый. Клепа, которую он разыскал, чтобы узнать про Надю, так и не поняла, какой он стал человек. Был из последних, а сделался первым. Конечно, в таких простых словах он не выражал своего восторга. Но это видно было по всему – взгляду, походке, выправке.

Сам себе он казался достаточно скрытным человеком и был откровенно уязвлен бесцеремонным вопросом бывшей соседки:

– Ну как? Все сохнешь по Надьке Васильевой? Никак не забудешь?

У него занялся дух от этой бесцеремонности, сил не хватило ответить. Только пожал плечами.

– Ну почему?..

И все же нужные сведения по крупницам собирались. Как и следовало, Надя вышла замуж за Бориса Чалина. В старших классах они дышать друг без друга не могли.

В институт поступили вместе. Теперь куда-то на восток укатали. Практиковаться. Поговаривали, что знаменитый тесть не слишком жалуется безвестного зятя. Конечно, ему для доченьки ненаглядной заморского принца подавай. Кыш, все местные! Ну да сама Надежда тоже крепкий характер имеет. И сможет постоять за того, кто ей люб.

С прохладцей и злобой, поигрывая желваками, Костик спускался по ступеням городского парка, где позволял себе выпить ледяного пива. Гибким прутиком нервно бил по голенищу. Он бы, наверное, не мог сказать самому себе, какие сведения его больше разозлили. И тут же странным образом успокоили. Во всяком случае, память о Надежде он решил вычеркнуть из жизни. Но напоследок вновь и вновь возвращался мыслями к единственной женщине, которая его не оценила. Ладно, не он один. Еще и Борису придется хлебнуть с ней лиха. Не исключено.

Придя к такой обнадеживающей мысли, он с легкостью сломал прутик и запустил им в пробегавшего мимо бездомного пса.

5

Поезд мчал среди холмов, поросших лесом, освещенных утренним солнцем. Борис представил, что где-то в мелькающих чащах медведи выходят из берлог, разминают затекшие лапы. Один завораживающий таинственный вид сменялся другим. Но любованию это быстро наскучило, потому что не имело отношения к реалиям их жизни и неустройству. Даже Надя притомилась и лежала на верхней полке, несмотря на духоту. Последние несколько часов она спала или делала вид, что спит. Они почти не разговаривали. Борис то и дело выходил в тамбур покурить. И, стоя между двумя раскрытыми дверями, пытался представить конечную цель пути.

Куда они ехали, знала только Надя. По окончании курса им предстояла практика, и Надя захотела провести ее в деревне у тетки. Договорилась обо всем в деканате, умолчав о родственнице. У нее была хватка, как у папаша. И Борису оставалось только подчиниться. Во всяком случае, любое путешествие было лучше, чем житье в роскошной квартире у тестя.

Отец Нади получил наконец генерала, стал вальяжнее и мягче. Но Бориса почему-то невзлюбил. И жизнь в чужом благополучном доме сделалась для него сущей каторгой. Впрочем, не всегда он это ощущал. Чистый, бьющий родник – Надя – охлаждал накаленную обстановку. При дочери генерал становился покладист и тих. Временами примирительно речист. Иногда долдонил молодоженам о необходимости образования. Наде ничего не советовал, потому что сделать ее военной было невозможно. Зато зятя он хотел непременно послать в военное училище и хотя бы на какое-то время избавиться от него.

Борис тайком бегал в аэроклуб, но в разговорах с именитым тестем отмалчивался. Пуще всего не терпел над собой никакой чужой воли. В этом отношении тесть его доконал. И все-таки напускное равнодушие Бориса не спасло: вскоре аэроклуб перевели в другое место, и будущие летчики остались ни с чем. Потом, когда Надежда, по примеру деда, захотела стать агрохимиком и поехала сдавать экзамены в Тимирязевку, Борис последовал за ней. Почудилась ему новая жизнь, воля, степи, кони.

Ошибка обнаружилась быстро. Он любил точные науки, преуспевал в математике, физике. А ему встретился чуждый мир приблизительных знаний, условных ценностей. Многое надо было не понимать, а заучивать. Допотопные машины вызывали, по сравнению с самолетами, чувство неловкости и стыда, а доценты и профессора выдавали их за чудо техники.

Однако по природе своей он не способен был к легким переменам. Инерция прежнего решения и новые друзья помешали ему сразу отступить. Вместе с Надей он сдал экзамены, оба получили место в общежитии, семейную клетушку, разделенную матерчатым пологом.

Теперь и то время осталось позади.

Поезд начал тормозить. Потянулись грязные разводья рельсов на безымянном полустанке. Борис быстро прошел в вагон. Надя уже сидела внизу на скамеечке, причесанная, собранная.

– Наша? – спросил Борис.

Она кивнула.

Вышли в никуда, в мокрель и сырость. Возле будки обходчика понуро стояла лошадь, запряженная в телегу, и дремал возница.

– Куда нам? – спросил Борис, обернувшись к Наде.

– Синево! – беспечно отозвалась она.

Вышло, что возница едет как раз в ту деревню. Брезентовый пакет с полученной от провизника почтой лежал в его ногах. О цене сговорились быстро: возница ничего не взял.

Борис кинул чемодан в солому, они с Надеждой сели на телегу рядом с колесом, которое то крутилось, то притормаживало. Возница, бодрый улыбчивый мужичонка с прокуренными зубами, махнул вожжами, и лошадь тронулась.

По обе стороны дороги тянулось поле. Дальше стоял лес. Яркая солнечная зелень распустившихся берез мешалась с темным цветом вечнозеленых елей. Дорога выглядела пустынной, словно никакого движения в этом медвежьем углу отродясь не бывало. Однако благостная тишина длилась недолго. Перед лесом, где угадывалась река, прогремели взрывы.

– Завод строят! – пояснил, обернувшись, возница и опять весело улыбнулся, словно в строительстве завода была его заслуга.

Потом над ними долго кружил невесть откуда взявшийся самолет. Подняв голову, Борис наблюдал, как он разворачивается, покачивая крыльями. Надежда быстро взглянула на мужа, стараясь, чтобы он не заметил ее понимания и сочувствия.

Впереди на холме показалась деревенька, когда медленную повозку нагнал верховой. Возница сломал шапку и кое-как изобразил поклон. Всадник глянул острым ястребиным взглядом на него, потом на спутников.

– Тебя совесть не мучит, Алексан Палыч?

– А в чем?

– Да вот, лошадь загубишь. Что же такую телегу взял? Колесо тормозит.

Возница развел руками с шутливой покорностью:

– По срочному делу вышло, а другой экипажи не было. Но колесо крутилось сперва, а тут, действительно, хоть с возу слезай, утопнешь, нечего делать!

Всадник сдержал улыбку.

– Откуда ползешь?

Возница сокрушенно махнул рукой:

– Из района. В больницу жену отвозил.

– Это в который же раз?

– Ай, сбился сам! Ноне пересчитаю. Об одном молимся: может, на этот раз будет дочка.

Всадник все же не справился с улыбкой.

– Ну, ну!

Потом тронул поводья и, разбрасывая конем тяжкую слежавшуюся глину, помчался по дороге.

Палыч привстал на коленях, во всю мочь замахал кнутом над головой и потащился вперед, оглядываясь на сломанное колесо.

6

Тетка, Людмила Павловна, поразила Бориса яркой, броской, какой-то восточной красотой – так много было блеска в волосах, загара и сияния больших, словно распахнутых глаз. Надя могла с ней сравниться только потому, что была молода, и это давало ей преимущество.

Приняла тетка молодоженов радушно и в то же время настороженно, будто заранее согласилась тащить непосильную ношу и не торопясь примеривалась, как бы получше взяться. Загар на руках и лице у нее был какой-то не рабочий, темный, а курортный, мягкий, шелковистый. Она и работала врачом в сердечном санатории, который открылся недавно и все еще строился под горушкой, недалеко от Синева. Там тетке полагалась комната. Но она предпочла в Синеве полдома, который оплачивал райздрав. Тетка предложила племяннице жить в санатории. Но Надя осмотрела темные сырые стены с потеками, унылый вид на замусоренный хозяйский двор и предпочла деревню.

Каприз Надежды показался Борису чрезмерным, и он пробовал возразить:

– Переночевали бы в санатории. Почему нет?

Ответ был получен тут же:

– Ты ничего не понимаешь.

Комнату им указали ближе к ночи. Тетка договорилась – последний дом в деревне.

Добрались до нового жилья уже в наступающей темноте. В нескольких шагах от калитки начинался спад, и дальше угадывалась черная пропасть оврага. А может быть, речки. Что-то шумело и бурлило. В одном из окон дома желтелся свет.

Дверь оказалась не заперта. За широкой печью на свету возилась хозяйка. В темном углу на кровати слышались голоса двух малышей.

– Папань, а папань... расскажи сказку.

– Ведь я уже рассказывал вчера.

– Нет, папань, сегодня еще.

– Погодите. Отвяжись, Славка! Кто-то пришел. Валерка, не толкайся, а то прогоню. Будешь в сенцах с матерью спать.

– Это Славка. Это не я...

– Ну, папань, расскажи!

* * *

Практиканты устроились.

Врубились в чужой дом, в чужую жизнь, как будто их только и ждали. И будто они своим присутствием способны осчастливить, а не затруднить людей и не причинить им хлопот. У большинства такое волшебное заблуждение возможно только в молодости. Некоторые сохраняют его на всю жизнь.

Надежде казалось, что она еще никогда так не уставала. Да и Борис чувствовал себя не лучше. Поэтому, не раскрывая чемоданов, улеглись в чужую постель. Обнялись накоротке и отвернулись друг от друга. Хотя Надежда жаловалась на усталость, но сон не шел. Борис тоже не спал, выходил курить. И оба долго передумывали дорожные впечатления, глядя на молочный тревожащий свет луны в черном посеребренном окне. Старались привыкнуть к незнакомому окружающему миру. А на самом деле каждый думал о себе.

Борис был недоволен присутствием тетки в деревне и новой непонятной зависимостью. Вообще не нравилась затея с заранее подготовленным гнездышком, где их опекала Надина родственница. Над этой идеей, несомненно, поработал тесть, который день и ночь печется о

своей дочке. Временами Борис понимал эту неусыпную родительскую любовь. Но чаще она его допекала. Присутствие родителей оказывалось причиной непрерывных ссор. И Борис это просек наконец. Наедине с ним Надежда была одна – милая, ласковая. При родителях становилась совершенно другая. Будто внутри появлялся какой-то железный стержень. И словно не она только что смотрела на него сияющими глазами и говорила нежные слова.

Эти «качели» выводили из себя. Самое досадное заключалось в том, что каждый раз она выглядела искренней. И где была настоящая Наденька, он не мог понять. В девичестве она вела себя проще. Конечно, не родители, а прежде всего папаша ее был всему причиной, со своей отцовской ревностью и упрямством. И в нем, Борисе Чалине, заключалось столько же причин для недовольства, сколько нашлось бы в любом другом. Из-за этих «качелей» горячая любовь сменялась неистовой ненавистью, и обещания развода вспыхивали так же часто и страстно, как заверения в любви.

Борис прислушался. Надя ровно дышала. Луна отодвинулась и уже не освещала Наденькино лицо и не мешала ей. Он порадовался и в то же время удивился, что сон так быстро овладел ею. В последнем своем побуждении он обнял ее и осторожно отнял руку, стараясь ничем не потревожить.

Надя едва перевела дыхание. Она не любила засыпать первой. Поэтому лежала не шелохнувшись, как натянутая струна. Еще любовь не увлекла ее со всей силой, и она боялась ненасытного мужского стремления. Зато ревность крутила ее с неистовой силой. Она становилась сама не своя, если замечала случайный взгляд Бориса, устремленный к другой женщине. Так было в поезде. Вошла девчонка, и он не мог оторвать глаз. Поэтому Надя весь день сердилась. Тысячелетний женский опыт ей говорил, что никаких случайностей в любви не бывает.

Когда муж успокоился и уснул, мысли ее вернулись постепенно к оставленному дому, к прощанию с мамой, которое было трогательным и беспокойным. В разлуке легче думалось, и чаще приходила нежность. Размолвки мужа с отцом искренне огорчали ее, но она и вообразить не могла, что эта вражда будет длиться вечно. Она любила обоих настолько, что была уверена в своей власти над их поступками и чувствами. Но почему-то никак не могла выбрать подходящего момента, чтобы все устроить по-своему, помирить самых близких и дорогих людей. Она понимала, что непримиримость отца по отношению к Борису вызвана только заботой и беспокойством за нее.

Наверное, причины для этого были. Она сама не могла сказать, что семейная жизнь принесла ей безоблачное счастье. В первый месяц с опрометчивой легкостью она сказала мужу, что у нее может долго не быть детей. И, похоже, этот вопрос сильно его взволновал. Она это быстро почувствовала. А ей-то казалось, что главное – любовь! Во всяком случае, первый их месяц никак нельзя было назвать медовым.

Мать отругала Надежду и заново пересказала историю своих лечений и мытарств, но теперь уже бодрым тоном, как бы подтверждая укрепившуюся в обществе мысль, что силой духа и воли человек может одолеть любые невзгоды. А Надя точно знала с детства, что появилась случайно. И если бы не долгое мучительное материнское лечение, ее просто могло не быть. И беспокойство матери по поводу дочки в этом отношении было ей тоже известно. Но разве – не будь ее – любовь мамы и отца была бы от этого меньше? С легкостью, которую дарят молодость и беспечность, она обо всем поведала Борису. Но тот повел себя не так, как она предполагала, а напротив – сильно обеспокоился.

Утром она заметила в дороге, как муж следил за самолетом, и еще раз подумала, что крепости в их браке нет. Его вечно тянуло куда-то в путешествия и приключения, спокойная мирная жизнь тяготила его. Конечно, не будет он в белом халате склоняться над микроскопом, как ей хотелось. Не будет и тут, в колхозе. Землепашество не его путь. Ему бы на самолет или в море, так он сам иногда проговаривался. И она чувствовала, что скоро не останется сил его удерживать.

За перегородкой, как птицы после дождя, заторопились, перебивая друг друга, детские голоса:

- Папань, а папань! А кит сладит с акулой?
 - Он ее хвостом убьет.
 - Он больше акулы?
 - Больше.
 - Папань, а он толще самовара?
 - Толще. Спи!
- Воцарилось молчание.

* * *

Утром Надежда проснулась в залитой солнцем избе. От печи тянуло свежим хлебом. Борис вышел на крыльцо. Ослепительное синее небо над головой и туманное по горизонту обнимало землю. Теплом охватило плечи, и только острый холодный ветерок напоминал о ранней весне. Внизу, в овраге, шумел ручей.

Борис вернулся бегом через холодные сени в избу.

- Надя, – позвал он.
- Сейчас. Что тебе? – слышалось из-за перегородки.
- Пора вставать.
- Уже встала, – сказала она, выходя.

Борис настороженно окинул взглядом знакомую фигурку под тонким платьем, свежее заспанное лицо, улыбку, немножко бессмысленную, и остался доволен.

За несколько месяцев он успел понять, что Надежда обладает одним волшебным даром. И он проявился тут же: в незнакомой деревне, в чужом доме она успела в полчаса приготовить отличный завтрак. Пока он разминался в саду между яблонями, стол был накрыт. И уже рыба, пойманная хозяином, жарилась на сковородке, залитая яичницей и присыпанная мелким зеленым лучком. Они успели позавтракать, пока сам хозяин стучал топором во дворе.

Борис намеревался идти в правление, но тетка все устроила по-своему. Договорилась с председателем и забрала на целый день племянницу с мужем к себе в санаторий. Показала парк, новые постройки, записала племянницу на курсы медицинских сестер.

- Пригодится! Занятия два раза в неделю. Меньше в правлении будешь сидеть.
- Но я не хочу в правлении.
- Придется, – бросила тетка, когда они оказались вдвоем. – Председателю ты понравилась. А он старается не пропустить ни одной юбки.
- Хорошо! Я буду носить только платья, – равнодушно отозвалась Надежда, но румянец все же вспыхнул на лице.

Тетка внимательно к ней присмотрелась.

- Неужто он холостой? – наивно спросила Надежда, чтобы как-то отговориться.
- Да где же ты видела, в таком-то возрасте, чтобы мужик одинокий был? Только ненормальные. Нет! У этого все в порядке. И ребятшек двое. И баба на сносях.

* * *

Председателем оказался тот самый всадник на черном коне, которого они встретили в первый день. Это был широченный, еще не старый мужик, Демьян Фокин, по кличке Матрос. Он, и правда, служил на флоте в Гражданскую, на линкоре «Андрей Первозванный». Говорил и ходил неторопливо. Медвежья мягкость движений выдавала необычайную силу. В отличие от тетких предположений он повел себя с практикантами сурово. Бориса направил в бригаду

хмурого, тощего мужика Егора Палыча, который работал сперва на скотном дворе, потом на пилораме. А когда травы подошли, всех кинули на покос.

Время от времени хмурый Егор Палыч подбадривал молодого практиканта.

– Поглядывай! Поглядывай! – говаривал он то и дело. – Вон как Аникин чешет.

Борису поначалу казалось, что он в любой работе не отстанет от местных мужиков. Но выяснилось, что и топор надо держать не так, и косой водить по-другому. Маленький, круглоголовый Аникин в любом деле сто очков ему давал. Это был тот самый возница, который привез их в Синево.

Надежду определили в полевое звено, помогать учетчикам. Но помощник Демьяна и бригадир Ерофей Фомич скоро перевел ее в контору, и она прохлаждалась в правлении, осваивая счета и разные бухгалтерские бумажки. Надежде он, в отличие от председателя Демьяна, совсем не показался. Приплюснутый нос сапожком, колючие голубые глаза, округлая борода, воинственно выдвинутая вперед. Но сам он о себе был, очевидно, другого мнения. И Надежде уделял особое внимание. Давал советы по бухгалтерской части, отпускал подольше на обед. А однажды, будто бы по делу, велел отправиться в район, помочь с отчетом на исполкоме. Демьян, когда позволялось, посылал на такие дела своего заместителя. Надежда надела легкое светлое платье, шляпу с широкими полями от солнца, городские туфли. И ждала у дома, пока Ерофей Фомич прикатит на председательской двуколке.

Отчет в исполкоме занял не много времени, если не считать, что его вовсе не было. Просто сдали ведомость в сырую темную комнату, где пахло старой бумагой и мышами. Зато потом была ярмарка, где Ерофей Фомич купил себе сапоги, а Надежда заколку для волос. Позже они еще дважды ездили в райцентр, правда, уже без ярмарки.

Про них уже ходили разговоры. На чужой роток не накинешь платок. Конечно, зависть и злость воодушевляли многих деревенских пустозвонов. Еще бы! Муж у этой городской франтихи есть, так она еще и с другим любовь крутит открыто. Они бы, конечно, умерли от смеха, узнай доподлинно, что Ерофей пальцем не дотронулся до своей практикантки. Возможность видеть ее наедине сделалась для Фомича главной, лишила его привычной осторожности. Сдерживаемый взглядом своей молоденькой спутницы, он судорожно искал повод для новых встреч.

Седина у Ерофея еще не попала в бороду, но бес уже крепко зацепил ребро. Мужик перебрался от жены на сеновал, пил и ел в одиночестве и не хотел никого знать, кроме объявившейся городской недотроги.

Домашние ходили по одной половине, чтобы не потревожить хозяина. А тот и на сеновале не мог уснуть, все ворочался. А память и в ночи подбрасывала завораживающие картинки: вот Надежда идет, вот протягивает руку к ведомости. Чего, казалось, ведомость? Обыкновенная. А все дело в руке...

Пробивался студёный рассвет, и стены сарая становились различимы, когда Ерофей Фомич засыпал. Поднимался серый, помятый, злой на весь белый свет. И лишь короткие свидания с молодой практиканткой заряжали его необходимой энергией. Он выдумывал ей работу, не обращая внимания на кривые ухмылки рядом. Однажды забрал с собой обмерять дальние поля.

– Нечего белоручкой в конторе сидеть, – грубовато пояснил он.

Поколебавшись, Надежда подчинилась.

– Гляди, не намеряй лишнего, – пискнул счетовод Кирюшин.

Выходивший Ерофей Фомич мог этого не слышать, но Надежда отлично поняла и уже в коляске сильно пожалела о своем согласии. Ерофей Фомич сидел на двуколке сам не свой, молчаливый и все время косил глазом в сторону.

Ни синего неба, ни пения птиц Надежда не замечала. Фомич остановил двуколку на берегу реки, когда Синевое скрылось за холмом. Привязал лошадь к березке. Приблизился. Надежда быстро отошла. Сорвала несколько васильков.

– Вот, глядите!

Хотела отвлечь, но поняла, что это не удастся. Фомич закосил глазом еще сильнее.

Светлеющее ржаное поле подходило одним краем к обрыву над рекой. Надежда прошла через рожь, приминая стебли, и глянула вниз. На речном плесе увидела маленькую лодку. Рядом старик, видимо, хозяин, перекладывал сети на берег. Надежда быстро решила, что рыбак поможет ей отвязаться от Ерофея Фомича.

– Дедушка! – крикнула она.

– Ай-я? – отозвался тот, подняв бородавку.

– Можно покататься на твоей лодке?

Старичок еще раз оглянулся.

– Почему нельзя? Авось не развалится.

По узкой, едва различимой тропке Надежда спустилась к реке, держась за ветки ольховника. Ерофей Фомич приплелся следом. Поприветствовал старика, взял у него ключ и весла.

Они выплыли. Надежда устроилась на корме и следила, как пронизывают воду и сходятся в глубине солнечные лучи. Ей казалось, что просмоленное днище висит над призрачной бездной, хотя берег был недалеко.

Заметив, что Ерофей Фомич начинает косить взглядом, сказала торопливо:

– Давайте к берегу!

Поднялась в лодке и едва не упала, соскочив на песчаную отмель. Добежав до березки, отвязала лошадь. Ерофей Фомич догнал ее, повернул к себе, прижался колючей щетиной к твердо сжатым губам. Она оттолкнула, вырвалась, обожгла ненавидящим взглядом.

– Не подходи! Слышишь?

Ерофей Фомич вспомнил, как в коллективизацию колхозный активист Проня Соломатин сильничал девок и склонял их к любви при помощи пистолета, положенного ему по должности при новой власти. И Ерофей Фомич очень пожалел, что нет при нем табельного оружия. Теперь приходилось стонать и каяться – «прости... погоди»...

– Дом отдам! – выдохнул он давнюю мысль, которая зрела в нем душными сеновальными ночами. Округлил глаза до боли так, что брызнули слезы. – Все!.. Отдам!..

Цепко схватил Надежду опять, но та вывернулась непонятно какой силой, взлетела на двуколку и, нахлестывая лошадь, помчалась прочь.

Ерофей Фомич, несуразный и одинокий, остался возле березы. Надежда не знала, о чем он думает, не догадывалась, как ему не хватает Пронькиного пистолета. А Фомич с завистью вспоминал, как нагло прохаживался по деревне удачливый Пронька. Правда, потом утоп в дремучем Рогожинском болоте за пять верст за лесом, куда сроду не ходил.

А Надежда, оставшись в одиночестве, бросила вожжи и пустила лошадь медленным шагом, постепенно успокаиваясь. Впереди началось курлыканье, будто приближавшийся лес оказался полон птиц. Курлыканье раздавалось все сильнее, но небо было пустым. Потом на чистую синь из-за леса легко выбросился журавлиный клин и, набирая высоту, стремительно начал уходить вверх солнца. Это была счастливая минута, и Надежда окончательно пришла в себя. Она попыталась подумать о Борисе с нежностью. Но что-то мешало. И она в конце концов оставила эти попытки. Семейная жизнь складывалась труднее, чем рисовалось в девичестве. Пришло разочарование, какого раньше не было. В ранней юности Борис верховодил, казалось, ему любое дело по плечу. И она не могла предположить, что в нем появится замкнутость, неуверенность, слабость духа.

Она же выросла в доме, где мужчина был властным и категоричным, как отец. Надежда предпочитала именно такие качества у главы семьи, а не туманные мечтания о невозможном

и, следовательно, недовольство. Раньше Борис хотел стать летчиком, путешественником, плавать на кораблях, опускаться водолазом в глубины моря. И она всякий раз верила его мечтам. А ничего не вышло. Он попал в сельский вуз по ее совету, теперь маялся. Какая уж тут романтика? Для себя она знала, что хочет – лабораторию, белый халат и таинственный мир живого под микроскопом. А ему – что?

«У него нет цели! – кричал, бывало, отец. И то, чем она гордилась, опять оборачивалось против Бориса. – Поплелся за женой в институт... Потому что нету цели! Разве не видишь?» – обращался он к дочери, и она мысленно соглашалась. Раз ему на факультете тяжело, надобно что-то делать. Ладно, аэроклуб перевели! Ведь есть, наверное, другие возможности. Или причина в другом? Может, отец своим авторитетом долго давил на зятя, и тот не выдержал? Эта мысль показалась Надежде очень правдоподобной. Но не прибавила нежности и любви.

* * *

Разные разговоры о жене доходили, конечно, и до Бориса. И он вдруг увидел в семейной жизни новую, незнакомую сторону. Отношения с Надеждой резко ухудшились.

Тетка не посмела устраивать выговор племяннице, хотя тоже была недовольна.

– Вона! Думала на Демьяна, – сказала она со вздохом. – А косой Фомич оказался шустрее.

В один субботний вечер, явившись неизвестно откуда, Людмила Павловна достала бутылку вина и сказала, подняв бокал:

– Выпьем за несчастную любовь!

Потом добавила, расчувствовавшись:

– Примаком в семье жить не сладко. Да... Но здесь! Ты что? Не можешь оттащить ее за косы?

Борис неторопливо отпил вино и глянул потемневшими синими глазами:

– Она же обрезала косы в прошлую зиму. У нее кос нету.

Они выпили бутылку до конца. Начало темнеть. Даже июньский вечер не выдержал – то ли от позднего часа, то ли от тяжелых туч, сгустившихся за окном. Капли дождя ударили по стеклу.

– Не знаю! Будь моя воля! – не выдержала тетка.

В конце деревни на бугре, где по субботам собиралась молодежь, запела гармонь.

«...От полудня до заката...»

Петька-гармонист всякий раз начинал одну и ту же песню. Услыхав ее, бабы вздыхали: «Знать, сегодня Петька...» Напарник его появлялся на бугре пореже и всегда начинал с вальсов.

Лицо Бориса обострилось. Тетка посмотрела на него с задумчивостью.

– Да... Конечно! Ты знаешь, что генерал вам жить не даст. И, главное, Надежда это чувствует. Ну, твое дело! Упустишь время, потом будет поздно.

Стукнула дверь. Никто, кроме Нади, уже не мог прийти. И все же мысль о ней не принесла Борису облегчения. Надежда действительно возникла в проеме двери, смеющаяся, счастливая. Словно счастье являлось достаточным свидетельством ее правоты и не нуждалось в объяснениях. Привлекательная той особой мучительной красотой, какой природа наделяет изменщиц.

– А по какому случаю праздник?

Ни слова не говоря, Борис рывком поднялся и вышел.

Едва начавшийся дождь прекратился. Сырой темный ветер донес пиликанье гармошки, и Борис отправился туда, где веселилась молодежь. Отыскал в кружке танцующих девушку, которую раньше приметил, – Настю Аникину. Она сама, бросив кавалера, подошла. Знакомство их началось с первого дня работы в бригаде. Настя приносила отцу обед. Была она краси-

вая, рослая в отличие от маленького Аникина, светлые косы уложены венцом на голове. А когда однажды пришла с распущенными волосами, у Бориса дух занялся от объявившейся красоты.

– Редкий го-сть! – пропела она, подходя. – Ай, завтра не подниматься?

В спустившихся сумерках каждую черточку лица ее было видно, и глаза сияли.

– Хватит времени, – отшутился Борис.

Они покружились несколько танцев. Когда говорить было не о чем, похваливали гармониста. Потом начались частушки, и Настя, разбивая пыль каблуками, пропела про милого парнишечку, которого отбила другая, злая зазноба. И получалось так, будто она смотрит на Бориса, обращается к нему.

Пока играла гармонь, они были вместе. Но расстались легко, Настя ничем не выразила сожаления.

– Завтра принесешь отцу обед? – спросил Борис. – Увидимся?

– А как же! – ответила она с таким радостным видом, словно он назначил ей свидание.

– Скажи отцу, чтобы стукнул в окно, когда пойдет. А то просплю.

– Ладно! – отозвалась она.

С ожиданием, что Настя появится завтра и это будет праздник души, Борис вернулся домой и улегся на край широкой постели, чувствуя, что жена не спит и лежит, вытянувшись в струну.

7

Косить поднялись рано.

Аникин стукнул в окно, выполняя наказ дочери. Борис едва проснулся с непривычки. Выпил молока, отыскал косу, догнал уходящих и зашагал, стараясь не отставать. Воспаленным мозгом цеплялся за непривычные картины.

В раскрытое небо врывался холод, и все оно светилось, пронизанное лучами невидимого солнца. Висящий туман скрывал крайние избы. Темная трава вокруг ног была густо усыпана жемчугом.

На место пришли в начале четвертого. Над горизонтом всплыл огромный полудиск солнца. Природа зазеленела, жемчуг пропал, и в тех же местах росинки засверкали глубочайшим бриллиантовым разноцветом.

Сквозь давние разросшиеся лесопосадки блестела река. В великом множестве неподвижно благоухали разнорозовые цветы шиповника. Прошумел первый ветерок. Засеребрились вывернутые листья тополей.

Борис заметил с удивлением, что все разделились и приступили. Маленький веселый Аникин сделал первый проход. Его коса без усилия завидно ровно подрезала валившуюся траву.

«Настя придет», – подумал Борис. Пройдясь следом за Аникиным, выбрал участок с запахом. Медленно принаравливался. На втором проходе пошел бойчее. Когда косил над оврагом, навстречу из травы выглянула черная граненая головка змеи. И тут же отлетела, начисто срезанная.

Подшли двое: длинный худой Егор Палыч с двумя косами на плечах и приземистый, широченный в плечах Жорка Норов.

– Бог в помощь!

Борис кивнул. Он волновался, чувствовал, что за ним наблюдают, и волновался еще больше. Коса несколько раз, задрожав, ковырнула землю.

– Ты на пяточку, на пяточку нажимай, – услышал он ласковый голос Аникина. Оглянулся ответить, но Аникин уже шагал прочь.

Норов не спеша сделал толстую самокрутку, насыпал с ладони крупную махорку и привычно размял ее пальцами.

– Широко захватываешь.

– Плохо?

– Нет, если прокашиваешь, почему же плохо. Хорошо. Кури. Ай ты не курящий?

– Нет, потом...

За последнее время Борис редко видел Норова в бригаде. И не любил, хотя слышал о нем немало любопытных рассказов. Многим не по сердцу приходился жестокий его характер. Говорили, за последний год Норова поджигали дважды, но никто не догадывался, чьих старательных рук это дело. В колхозе Норов работал мало, больше шабашил. Печи клал, избы рубил в дальних деревнях. Жену вовсе в поле не пускал по причине ребятишек, которые, диковатые, в отца, сперва сторонились всех, а подросши, стали гонять сверстников, отчего малолетняя деревня разделилась на два враждующих лагеря.

– Что засмотрелся? – на Бориса уставились маленькие, глубоко запрятанные глаза.

– Так... гадюку убил.

– Водятся они тут.

– Часто жалят?

– Меня, например, ни разу. Давеча Анютка Егорова веревкой у колодца змею засекла. В тридцать третьем, когда голод был, один старик от гадюки помер. Латов Прокопий. Домик его за Аникиным. Может, замечал? Возля колодца. Никто там не живет.

– Почему? – спросил Борис.

– Некому! – весело ответил Норов. – Сын Прокопия погиб, когда японцев били. Внук Ванька служит срочную. Осенью придет. Мать его, Зоя, всегда слаба была. Сына родила богатыря, как будто все силы отдала. Как мужа-то убили, она в ту зиму и померла. А Ванька ейный уже до армии тележную ось одной рукой подымал.

Норов закинул косу на плечо и пошел прочь.

«Не один я в поле кувыркался,
Со мною был товарищ мой...» —

услышал Борис.

Неожиданно густым, звучным голосом, в упоении раздирая глотку и ровно махая почти невидимой косой, продвигался Аникин.

– Егор! – через минуту весело кричал он и дожидался.

– Ну? – отвечал наконец хриплым голосом вечно простуженный Егор.

– Кто кого похолит ноне?

– Я тебя!

– Ха-ха-ха-ха! – рассыпался в ответ по полю мелкий дробный смешок.

Прошел час. Борис стал запариваться. Все чаще точил косу, большим усилием воли заставлял себя двигаться вперед.

Коса рвала землю. Мяла траву. Приходилось сбиваться с ритма, на что уходили остатки сил. Борис остановился, смахнул рукавом с бровей нависший пот и запрокинул голову. Прямо на него со всех сторон падало густое синее небо. Над деревьями по-прежнему вели свою беззаботную жизнь птицы. Вспомнилось, как думал, поступая в сельский вуз, – кони! степи! воля! Теперь, можно сказать, кони имелись в наличии. Но воли не ощущалось.

Борис оглянулся. Люди притихли. Работа брала свое: «Надо, надо, надо!»

Солнце поднялось высоко. Трава высыхала. Все чаще останавливались косцы. Все чаще визжали камни о железо. «Вот оно, в самом деле, – думал Борис. – Роса долой – коса домой».

Когда наконец поборол усталость и дело пошло бойчее, услышал, к своей великой радости, неунывающий голос Аникина:

– Егор, когда будем курить?

– По мне, в любое время.

Борис не спеша остановился, вытер косу пучком травы. И, так же не спеша, отправился к Аникину. От курева отказался и, заваливших на сырую скошенную траву, с наслаждением вдыхал терпкий аромат высыхающих стеблей. Над головой освежающе шумели деревья. Подумал, что там, вверху, нету такой жары и духоты, как на земле.

– Замучился? – услышал участливый вопрос Аникина и открыл глаза.

– Есть немного.

Аникин тут же забыл о нем. Повели разговор про лесника, который разбился на мотоцикле.

– Это такая штука, – вставил Егор. – Смертолюбивая.

– Да ить можно расшибиться на любом виде транспорта, – поднявшись с колен, заговорил Аникин. – Ежели голову на плечах не иметь. У нас летошний год шофер прямо с грузовиком искупался. Горемыка! А все почему? Молоденький!

Борис улыбался прежде времени, такое удовольствие вызывал в нем Аникин.

В дальних кустах шиповника мелькнуло белое платье. Настя! Поднявшись с колен, Борис напряженно вглядывался. Она! Магнитом его потянуло к этой дивчине. Машинально, продолжая разговор с Аникиным, спросил:

– Где?

– А?.. Искупался? Около монастыря. У Медведевки. Как ехать сюда из города, по правую руку... А ежели отсюда, то по левую.

Борис вспомнил разрушенный монастырь с проломами в кирпичных стенах, без купола и оттого казавшийся обезглавленным.

– Восстанавливать его не собираются?

– Да уж сколько лет. Обещался, говорили, какой-то митрополит ихний, да так, видно, дело и заглохло. Вот при Иване Грозном там, что называется, важные духовники жили. А может, врут?

– Нет, не врут, – вставил Егор Павлович.

– Ну, и что шофер? – спросил Борис.

– Какой?

– Что искупался.

– А, в пруде? под монастырем? Там лягушки все лето не пересыхают. И прямо на пруд дорога спускается. Она, дорога-то, повертывается, как сюда ехать. А он, горемычный, не разглядел. Разогнал на радостях свою технику и прямо в пруд по самую крышку. И не успела вода на крышке сойтись, как он на этой самой крышке уже сидит, и, пожалуй что, сухой. Вот до чего заставляет человека необходимость.

– Вот и то! Ха-ха-ха-ха!

Аникин смеялся мелким дробным смешком, обнажая источенные частые зубки, и казалось, не было для него большего удовольствия, чем смеяться.

Крепкий, с прокаленным лицом Норов кривил губы в сдержанной усмешке, словно мысли его блуждали где-то далеко.

– Давно женился? – неожиданно спросил он Бориса Чалина, когда возникла пауза и Егор с Аникиным принялись делить оставшийся табак.

Борис удивился, поднял бровь.

– А что?

– Так... – Норов не счел нужным объяснять. Его водянистые глазки с любопытством уставились на Бориса. – Давеча видел твою жену с Фомичом, председательским помощником. Куда-то шли...

– А что ты еще видел? – сузив глаза, спросил Борис.

– Вчерась Фомич все Маруське Алтуховой лазаря пел, когда мы в театр ездили, – по своему разрядил обстановку Аникин. – Всем колхозом на трех машинах. Туда и обратно.

– Ты с нами, Жорка, в театре не был? Во где посмеяться, – сказал Егор.

– А что смотрели? – поинтересовался Борис.

– «Обвал» какой-то.

– Может, «Обрыв»?

– Точно, «Обрыв». Всем понравилось. Особенно то место, где едят. У меня, ажник, слюна потекла.

– Бабка у них была сильная. Как она отчихвостила этого генерала!

– А кто у их дверей двое стояли? Контролеры?

– Нет. Это слуги ихние, лакеи. Уборщики.

– Эй... дочка! – радостно засветился Аникин.

Борис не терял ее из вида и заметил, как она шла берегом реки. Появилась для всех внезапно, но не для него. Приблизилась. Борис проворно убрал косу с ее пути. И как не бывало разламывающей усталости.

Пока здоровалась, раскладывала тряпочку на пенке, подобие скатерти, в душах у мужиков царил праздник. Золотые Настины волосы рассыпались по загорелым плечам и взлетали при каждом движении. Словно для того, чтобы подчеркнуть прелесть фигуры. В ее лице не было и следа той абсолютной, не волнующей правильности, которая принимается за красоту. Но когда она, внутренне преображенная волнением и радостью встречи, смотрела перед собой, лицо ее неуловимо изменялось, светилось радостью, и она становилась удивительно хороша. Борис почувствовал, что для него она переменила обычную свою прическу, и не мог отвести глаз.

Настя выставила на самодельный столик крынку со сметаной, хлеб. И протянула бутылку молока Борису. Готовилась, значит...

– А это вам! Поскольку вы у нас одинокий.

– Как одинокий? У него жена есть. Ты чего, дочь? – уставился Аникин.

Однако Настю нелегко было сбить. Ничего не изменилось, не затуманилось в ее улыбке. Может, нарочно бросила про «одиночество».

– Ну... это... Я имею в виду... без дома... без хозяйства. Он меня понимает, – засмеялась Настя.

И Борис всем своим видом дал понять, что понимает всецело и одобряет каждый ее жест. Настя посмотрела мельком на него, как бы закрепляя взглядом тайное согласие. Этот незнакомый парень в голубой рубашке с закатанными рукавами, легких брюках, заправленных в сапоги, с первых дней вызвал в ней беспокойство. Как это так? Не обратил на нее внимания!.. Ах... ах! Зато теперь обратил.

Ветер, трепавший самодельную скатерку, вдруг рванул и опрокинул стаканы. Погода быстро менялась, и Борис только сейчас это заметил. Капли дождя рассеялись в сильном ветре. Настя собрала посуду, и все сообща двинулись в обратный путь. Настя держалась рядом с Борисом. И он это ощущал каждую секунду.

Они миновали рошу и вышли к деревне. Редкая картина представилась им. Всюду бесновался ветер. На фоне темнеющего неба вершины деревьев беспорядочно метались, размахивая отяжелевшими ветвями. И на бесконечно глубокую, чистую половину неба с удивительной быстротой надвигалась туча, от края до края заполнившая горизонт. Перед ровным серым краем ее, беспрестанно изменяясь, крутилось множество клочков, как воздушные шары, которые, казалось, улетаели все выше. В черной же глубине тучи, по всему горизонту, молчаливо извивались молнии.

– На море в таких случаях говорят: «внезапно налетел шторм!» – крикнул весело Борис, наклоняясь к Насте. И она кивнула благодарно, как сделала бы это за любое слово, обращенное к ней.

На горизонте полыхнуло, и в наступившей затем черноте где-то далеко за лесом засветился веселый огонек.

– Смотри, зажгло!

Оба прислушались. Ветер принес далекий тревожный колокольный звон.

– Не одну крышу поснимает сегодня ночью, – сказала Настя. – Хорошо бы не нашу. Смотри!

В ближнем дому солома на крыше завернулась и неровным комом дрожала на ветру. Двое парней тащили доски и лестницу.

– Успеют починить, – сказал Борис.

Ему хотелось шутить, но Настя не поддержала его веселости. Ничего не ответила, только посмотрела на него. Для нее ничего шуточного не было в этом разговоре. Могла пойти с ним, если бы позвал. Но пошла за отцом.

Полный воспоминаний, Борис воротился домой. Надежда стояла в комнате, отвернувшись от окна. Незнакомая, осунувшаяся.

– Я тебе эту Настю не прощу! – произнесла она, недобро блеснув глазами.

– А я тебе – катание на лодке, – зло ответил он.

Она остановилась недоуменно, подняв брови, словно хотела сказать: «И это известно?» – или наоборот: «И ничего это не значит».

Но промолчала.

8

Если в начале весны Надежда собиралась в Синево с душевным подъемом, то потом ее настроение переменялось. И вернулись они с Борисом в конце лета совсем чужими людьми.

Надин отец, не заметив перемены, по-прежнему не упускал случая кольнуть зятя. Но теперь, к удивлению своему, не встречал сопротивления дочери.

Он не задавал себе вопроса, каким хотел бы видеть мужа дочери. Просто она казалась ему настолько совершенной, что возражения наверняка вызвал бы любой вариант. Но в сложившейся обстановке было ясно, что, кроме Бориса Чалина, всякий другой станет лучше и желаннее.

Несколько раз Надежда уходила из дома, ничего не говоря, и возвращалась за полночь. Соседи видели Бориса с другой девушкой, и Надежде тут же было доложено. Дело шло к разводу. Юная любовь под нажимом старших не выдерживала и рушилась. Вся семья ощущала приближающуюся катастрофу. Отец ждал ее, надеясь, что наступят другие, благословенные времена. Открыто волновалась и переживала только мать. Надежда сделалась бесчувственной, словно нервы у нее были из железа.

Намечающийся разрыв был вопросом времени или обстоятельств. И повод наконец нашелся. У отца пропал бинокль, восьмикратный, цейссовский. И он заподозрил в пропаже зятя. Разгорелся целый скандал: кто, где, когда был. Выяснения касались в основном Бориса. Он стоял бледный, кусая губы. Только время от времени обращался к жене:

– Надя, скажи!

Но та глядела холодно и надменно, не прощала ему Настю. Она как бы не хотела вмешиваться. И все же сказала фразу, разделившую всю их жизнь:

– Я верю папе.

В тот же вечер Борис собрал вещи, и к утру его не стало.

* * *

Эта весть дошла до Михальцева только полтора года спустя. И он, неожиданно для себя, не только обрадовался, но и пожалел Бориса. Комбриг Васильев всегда считался правильным человеком. Можно было представить, что он требовал того же от жены, дочери и, наверное, в первую очередь от зятя. А Борис оказался крепким орешком. Дальше понятно, мог и на Надины слезы не посмотреть. Добился своего, укатил в Мурманск. Прошел слух, будто завербовался матросом на северный рыболовный флот. Это после теплой Надиной постели в обеспеченной комбриговской семье... Смех, да и только.

9

Слухи были верные. На сейнере Борис работал простым матросом. И в этом заключалось спасение. Если бы не встретился с Максимычем, старпомом крошечной «Онеги», и тот не забрал бы его сразу в рейс, он бы не пережил предательства Надежды: «Я верю папе».

За пикшей ходили до Шпицбергена. Возле Гренландии видели китов.

После этого потеплело на душе. Хотя жгучая обида долго терзала Бориса, не считаясь с усталостью и новыми делами, которые валились на него со всех сторон. К рейсам и штормам он привык легче многих моряков. Хотя временами одиночество давило нестерпимо. Но когда в середине ослепительно синего, слившегося с небом океана возникли гренландские киты с водяными зонтиками и большими хвостами, Борис забыл про мокрый комбинезон, облепленный рыбьей чешуей, и почувствовал себя хозяином собственной жизни. К нему вернулось ощущение, которое он потерял в комбриговском доме.

Достаточно было одного этого мгновения. Оно сидело в памяти долго. Но подстерегавшая судьба, взявшись с ним играть, еще раз круто изменила путь. Словно в отместку послала новые испытания: раз уж не захотел от веку надежного хлебопашества и жены, которая «верит папе», но иногда искренне прислоняется к тебе, раз уж отказался от всего этого – получай! По возвращении с путины молодых парней, не спрашивая, загребли в мореходку, готовившую подводников. Загребли без долгих уговоров и внушений. Но так, что каждый почувствовал себя спасителем Отечества.

После океанских просторов Балтика показалась Борису Чалину тесной и скучной. То ли дело океанский вал! А тут залив, хоть и Финский.

Жуткая дисциплина, в которую он попал, стала отчасти защитой от воспоминаний о Надежде. Он чуть было не написал ей письма. Но вдруг желание пропало. Враждебность спаянной четверки ростовских дружков, строевые занятия, классы, спортивная гимнастика – все это оставляло мало времени для размышлений. Ребята, оторванные от счастливых семей и любимых, переживали внезапную смену режима гораздо тяжелее.

Настал день, когда Борис вместе с другими матросами спустился по скользким поручням внутрь крошечной субмарины, которая вскоре вышла в открытое море. Притихшие курсанты больше не видели ни волн, ни чаек, не вдыхали чистый солоноватый ветер, летевший под облаками. Сидели, прислонившись к стальным переборкам, в предельном напряжении. Сперва было холодно и качало. Потом вдруг качка прекратилась, и все поняли, что лодка пошла на глубину. Стало трудно дышать.

Погружались brave морячки, предвкушая таинственное приключение и страшась его. А в конце плавания поднялись на мостик, держась за руки, изможденные, посиневшие от недостатка кислорода.

Выяснилась любопытная особенность – спортивные, накачанные ребята переносили нехватку кислорода особенно тяжело. А доходяги, вялые, малоподвижные в обычных условиях после долгих походов, без глотка свежего воздуха, наоборот, выглядели предпочтительнее и меньше страдали от духоты в крошечной стальной коробке, опущенной в немыслимые глубины.

Через несколько боевых дежурств Борис и еще несколько крепких парней попали в госпиталь. Двоих комиссовали из-за высокого давления и перебоев в сердце. Дорожка к бегству была открыта, но Борис заставил себя вернуться в строй. Эти госпитальные дни стали для него переломными. Он уже мыслил себя подводником и добился перевода на знакомую «Малютку». А перед этим решил еще на один важный шаг – написал Надежде. Раскаиваясь и сожалея. Никакие встречи не заменили ему Надину любовь. Высказал в письме то, что ей хотелось бы услышать, наверное, в давние, незапамятные времена.

Адресовал конверт соседке, доброй старушке, чтобы передала лично в руки. Иначе Надин отец мог перехватить письмо и разыскать Бориса. А встреча с комбригом в новом подневольном положении вовсе Бориса не устраивала.

В первый же раз в боевом походе он с нетерпением ждал возвращения, мечтал получить ответ. Но никакой весточки не оказалось. После этого он еще дважды писал, не замечая, что каждое письмо слово в слово повторяет предыдущее.

А служба складывалась неплохо. С прежней командой пришлось расстаться. Борис получил назначение уже в качестве рулевого на новую «Малютку», которая, после ремонта, стала нести боевое дежурство в глубинах Балтики. Сорок первый начинался хорошо, и Борис втянулся в трудный флотский ритм, постигая железный уставной порядок и сложности незримых морских путей.

Быстрое повышение могло поставить его во главе всей команды. Кому запретишь мечтать, когда подводная лодка слепа. Видит один командир. Он один прокладывает маршрут, дает указания штурману. Только он поднимает перископ и оглядывает зелено-голубой мир, где легко жить и дышать. И выбирает момент для торпедной атаки – главного дела, ради которого стальная коробка с уложенными торпедами скользит в морской пучине... Один!

Остальная команда напрягает мозги и старается мысленно в крошечной тьме угадать обстановку.

Тайное всегда становится явным. На морских путях из Норвегии в Пруссию были замечены десятки германских судов, незагруженных, с высоко поднятой ватерлинией. Складывалось такое впечатление, будто большинство из них спешно удирает, позабыв загрузиться.

Однажды, чтобы как-то выяснить причину, подводная лодка всплыла. Но ясности не получилось. Вышла еще одна запутанная история. Заметив поднимающуюся из моря боевую рубку с перископом и пушкой, на немецком сухогрузе засуетились, стали сбрасывать шлюпки в море. Как будто не посланец дружеской страны в мирном море, а вражеский корабль, приближаясь к пассажирскому судну, изготавился для атаки. Одна из шлюпок сорвалась с талей, и люди вместе с ней посыпались в холодную воду.

Непонятный эпизод командир обрисовал в секретном донесении. А команда позабылась. Такого разгильдяйства (незагруженные корабли), а тем более паникерства от немцев никто не ожидал.

Меньше всего странное происшествие занимало Бориса. По возвращении на базу он опять не получил письма. Наконец долгое ледяное молчание Надежды отрезвило его. В том, что письма передаются, он не усомнился ни разу. И причину такой безжалостности объяснял по-разному. Больше всего ему хотелось оправдать Надежду. Он уверял себя, что причина не в ней. Чаще приходило другое объяснение. И он видел за всем этим стальной взгляд человека, которого прежде уважал, а теперь на военной службе стал понимать больше, чем когда-либо. Но волею судеб с ним-то и суждена была обоим нескончаемая вражда.

О Надежде не хотелось думать с такой безнадежностью. Были!.. были связующие нити! И прошлое, которое Надежда не могла зачеркнуть. Хотя и у нее за минувшее время вполне могла начаться другая жизнь.

10

Гостевание у Клепы с чаепитием и леденцами оказалось как бы последним приветом забытому детству, который помог Михальцеву понять, как он обставил своих сверстников-одноклассников, обошел их и превзошел по всем статьям. Клепа, наверное, угадывала в нем прежние черты, а он уже наутро был другой – подтянутый, собранный, с лихо закрученным на макушке волосом. Так он приноровился скрывать начавшую пробиваться лысину. Едва заметная улыбка проскальзывала в нужный момент. Ледяная или дружеская, это зависело от обстоятельств. Внешний вид и настрой его души определялись требованием службы. Он уже не был Серым, как в школе, заматерел, раздался в плечах. Лицо его сделалось шире, глаза круглее, точно все время хотели вылезти из орбит. От характера жесткого и несговорчивого, а может, из-за мокрых губ, которые он вечно вытирал тыльной стороной ладони, к нему еще в училище прилипла кличка Жабыч. Потом каким-то образом перекочевала на службу. Только там стали звать за глаза почтительнее – Жаб Жабыч.

Кабинет, который они с напарником занимали попеременно, не мог называться так в полном рабочем смысле. Это была узкая комната с низким потолком, будто для того, чтобы труднее было дышать. Стены красили синей краской в стародавние времена. Но ядовитый запах до сих пор не выветрился, хотя форточка в единственном зарешеченном окне никогда не закрывалась.

За год Михальцев привык здесь работать, и после отпуска даже запах в кабинете показался привычным, родным. Начальство – капитан Струков сразу загрузил его делами по самые уши. Войдя к себе и повесив фуражку на гвоздь, Михальцев крикнул дежурному коротко и повелительно:

– Приведите.

Тут начиналась его стихия, где не надо было притворяться добрым, умным, щедрым, догадливым или, напротив, – злым, коварным, всезнающим. Эти свойства как бы подразумевались в той мере, в какой требовал долг.

Вошедший арестант был низковат. Большая лохматая голова как бы не соответствовала узким плечам, хотя щуплым и слабым его тоже нельзя было назвать. Бывший учитель и недавний директор комбината. Выдвиженец. Значит, выдвинули. Кому-то нужно было. А ведь учил, пророчествовал. Пример показывал. Чтобы, значит, все ему подражали. Взгляд настороженный, но еще спокойный и даже властный. Привык повелевать массами.

Наблюдения эти имели отношение к предстоящему допросу. Поэтому Михальцев фиксировал их быстро и точно. И в то же время думал с удивлением, что прежняя жизнь этих приходящих живьем и уходящих в небытие людей уже не имеет значения. Какая разница, кем он был? Профессор кислых щей, директор, колхозник. Кто его дома ждет? Внук? Сын? Жена? Теща? Теперь это все равно. Он вырван из той жизни. Навсегда. Десять лет без права переписки. То есть пулю в затылок. Объяснения последуют потом. Десять лет начиная с сегодняшнего дня – это такой бесконечный срок. Поди потом, разбирайся! Нет уж, разбираться будут без нас. А теперь надо получить его подпись. С полным и безоговорочным признанием своей вины перед великим государством, перед партией. Перед идеей свободы, равенства, братства. В этом смысле, по мнению Михальцева, его следовательская работа была наиважнейшей из всех видов человеческой деятельности. Что такое свобода и братство, Жабыч плохо себе представлял. А вот идея всеобщего равенства ему очень нравилась. Главное тут – правильно поделить и уравнивать. В этом своем стремлении Жабыч чувствовал себя частичкой огромной машины, надежным винтиком, беззаветным служителем, готовым положить живот за народное дело. Его иногда распирало от гордости, когда он сравнивал себя с арестантами. Он воображал их иногда жителями совсем другой подземной обители. И это очень помогало ненавидеть их и не жалеть.

Можно было предположить, что этот лохматый будет трепыхаться, как пескарь на сковородке. Но песенка его спета. Его уже оговорили. Сперва один. Потом у другого вытребовали признание. Они прошлись по комбинату мелким бреднем. Так что в отношении свидетелей трудностей не предвиделось.

Надо заканчивать с ним быстрее, думал Михальцев, потому что начальник новое задание дал. Поступил донос из деревни Синево на какого-то тракториста. Будто советскую власть ругает. А донос от самого председателя-орденоносца. Не отмахнешься.

Повинуясь движению руки следователя, арестованный сел. Жабыч долго испытующе смотрел на него. Отеки под глазами. Синюшный цвет лица. В камере двадцать человек вместо восьми.

– Старший инженер комбината Семичастный показывает, что на майские праздники вы сказали, что скоро придут другие времена. Вы подтверждаете эти показания? И что вы имели в виду?

Глаза арестованного сощурились. На виске задергалась мелкая жилка. Однако ответ прозвучал с видимым спокойствием:

– Я не встречался на праздники с инженером Семичастным. И он не мог слышать, что я говорил.

Жабыч подумал, что этого бывшего директора еще не обрабатывали. Но он уже знает, как это делают. И потому боится. Сам он тоже боялся в детстве. Интересно, боязнь мальчишки и взрослого мужика одно и то же или разное?

Внимательно поглядев на зарешеченное окно, Михальцев углубился в чтение бумаг, изредка бросая уничтожающие взгляды на арестованного. Тот сидел прямо, положив руки на колени. Сеточка морщин возле глаз сжималась все гуще, но растерянности и беспокойства пока не ощущалось. Михальцев даже пожалел, что лохматого учителя привели утром. Тяжелых «клиентов» легче было раскалывать после полуночи. В сложных случаях он особенно любил ночные допросы, когда арестантов волокли к нему тепленьких, готовеньких. Они по пути еще досматривали домашние сны, а он встречал их, как огурчик, бодренький и строгий. У них начинал заходить ум за разум и язык заплетался. Он, Михальцев, не торопился расплести. Тут, как в парашютном деле, надо поспешать не торопясь.

Иногда такие вот крепыши быстрее сламываются. На другого посмотришь: в чем душа держится? А упрямствует! Ничем его не согнешь... Многое от семьи зависит. Смотри опять же, какая семья. Закон сейчас умный сделали. Детей в свидетели допускают. Не хочешь быть свидетелем? Пойдешь ответчиком. Тоже дозволяется. Какой отец это выдержит? Надо поглядеть, какие у этого учителя детишки, какой возраст?

– Показания Веретенникова тоже отрицаете? – спросил Михальцев, прищурясь.

В отличие от мокрушника Кувалдина и некоторых других любителей разбрасывать кровь по стенам, Жабыч не спешил к таким крайностям. Конечно, без них не обходился, но использовал битье в редких случаях, можно сказать, тупиковых. Тем более удивительно было то, что среди заключенных он числился одним из самых страшных следователей. Другие чаще отправляли подопечных на десять лет без права переписки, а боялись больше Жабыча. Глупость, конечно, человеческая. Недалекость. Слабоумие. Хотя и странно возражать против такой неожиданной славы. Начальство одобряет.

На первых порах Жабыч удивлялся примитивности человеческого мышления. Потом разгадка пришла. Исключительностью своей он был обязан Ибрагимову, скромному лаборанту, который трудился по соседству, смешивая свои бесчисленные химикалии.

Надышавшись ядовитых паров, Ибрагимов заходил побалагурить и покурить. Являлся в своем неизменном халате, прожженном в разных местах кислотами и щелочами. От них оставались бурые пятна, похожие на высохшую кровь. Как будто он не пробирки разливал, а без усталости рвал щипцами человеческое тело. Жабыча навел однажды на эту мысль арестованный

полковник. Жена его исчезла вместе с дитем. Наверное, ждали ареста, готовились к нему. Обеспечили надежное укрытие. Поэтому полковник долго упорствовал. Михальцев уже сорвал на нем голос и сам себе представлялся шипящей зеленой жабой. Он уже собирался заканчивать допрос, когда дверь открылась и вошел Ибрагимов в своем прожженном щелочами халате. Точно вернулся из пыточной.

Трудно сказать, что подействовало на полковника. Бурые пятна, которые тот принял за кровь, или дурашливая улыбка лаборанта, как бы говорившая, что человек этот не встречается в занятиях своих никаких моральных затруднений.

Как бы там ни было, но мучнистое крупное лицо полковника совсем побелело. Заплетаящимся голосом он стал говорить про свои больные почки. Тут Жабыч, сипя, налетел на него коршуном. Полковник во всем признался и все подписал. Оговорил даже тех, кого и знать не мог, как выяснилось. Потом он пробовал вешаться в камере. Но его оба раза вынимали из петли, чтобы аккуратненько довести до расстрела. И с ним еще кучу народа.

После этого Михальцев в сложных случаях звонил Ибрагимову. У них даже особый язык выработался, чтобы арестованных побольше запугать. Ибрагимов в измазанном халате появлялся, как ни в чем не бывало. Ему это нравилось. А слава свирепого и беспощадного следователя досталась Михальцеву.

Глядя на согбенную фигуру бывшего учителя, раздражаясь от его крохотных буравчиков-глаз, упрятанных под бровями, Михальцев собирался вызвать лаборанта. Но тот сам явился встревоженный, без халата, в рубашке и мятых брюках.

– Мать парализована. Третью неделю подняться не может, – сказал он, будто продолжая начатый кем-то разговор. – А меня посылают в Лиду. Командировку дали на десять дней. Там еще добавят.

Михальцев не задал вопроса в лоб, чтобы исподволь выяснить причину столь срочного задания.

Арестованного пришлось отпустить. Ибрагимов окончательно расстроился и сел. Оказалось, что химика посылали вместе с группой следователей разбираться с арестом комбрига и еще нескольких командиров. Фамилия Васильева всплыла не сразу, и только добравшись до нее, Михальцев сел, оглушенный, не слыша и не видя ничего вокруг.

Переспросил.

Уставился в одну точку.

То, что комбриг Васильев, славный орденосец, оказался заклятым врагом советской власти, Жабыча не удивило. Уже сам факт ареста неопровержимо об этом свидетельствовал. Но какую перемену означает арест отца в жизни Наденьки? Любой профессионал мог себе представить. Ближайших родственников обычно тоже метут. Неужто и она уже в камере? Вполне возможно. И надзиратели с ней уже... Он подумал, что так вот и кончается любовь. И была ли она? Была! Даже сейчас обжигает. Несмотря на беду. Выходит, хитрый Бориска заранее учуял опасность? И как вовремя слинял! Уж он бы, Михальцев, такого себе не позволил, ползал бы на коленях. Не сейчас, конечно, а в ту пору. Вот и ехал бы нынче в скотном вагоне малой скоростью. Оборванный, голодный. Вслед за комбригом. Нет, комбрига в скотном не отправят. Людям такого масштаба одна мера – расстрел.

Отменив допросы, Жабыч принялся ходить по комнате, сжигая одну папиросу за другой.

То, что в бригаду следователей включили какого-то лаборанта Ибрагимова, а не знаменитого Михальцева, сильно его обескураживало. Он сравнил масштабы деяний – следствие по делу комбрига и арест неизвестного деревенского увальня. Какое различие! Скорее всего, дело Васильева на контроле в Москве. А то и в Кремле. В случае успеха – звезды, награды. А неуспеха там не бывает. И едет какой-то химик Ибрагимов!

Но, конечно, больше всего распаляло желание отыскать Наденьку. Это было сильнее страха. Да и чем он рисковал?

Жабыч закурил последнюю папиросу и смял пачку. Его восприятие ситуации как бы раздвоилось. Одно осталось любящим, а другое трубило от радости, что избежал жалкой участи подследственного, оказался по сравнению с Надеждой, да и самим комбригом, на недостигаемой высоте. Аналитические способности были всегда его сильным свойством, помогали ориентироваться в пространстве, избегать опасностей. Он тут же сказал себе, что про старое знакомство никто не должен знать.

Да и что было? Неужто одна-единственная улыбка и пирожок, который она подарила? Он до сих пор видел вытаращенные глазенки и черные, будто нарисованные, брови. Слышалось, как она сказала весело: «С праздником!»

Но в кабинет начальства он вошел, отбросив всякую сентиментальность.

– Товарищ майор, Ибрагимова в Лиду посылают. Там интересное дело. Нельзя вместо него?

Майор хмуро глянул. Хмурость и озабоченность давно стали приметам профессионального характера.

– Ибрагимов будет наказан, – сурово ответил майор, – за болтовню. Но он специалист. А там нужны будут графологи, симпатические чернила и прочее. А ты что умеешь? В зубы тыкать? Директор комбината до сих пор молчит? Тут еще одно дело наплывает. Можно в связке толкнуть.

Речь опять шла, как понял Жабыч, о синевском трактористе.

– Этот Иван Латов фигура подставная, – зычно указал майор. – Его следует быстро взять, чтобы крупная рыба не уплыла. Колхоз тот связан с комбинатом. Учти! Якобы по части культурных и хозяйственных дел. Чуешь или нет? Какая тут связка получается? Чем больше они будут писать друг на друга, тем легче нам работать.

Жабыч ничего не понял, но сказал, привычно козырнув: «Слушаюсь!» – и только через полчаса начал соображать, как следует вести новую линию.

«Безусловное выполнение приказов обеспечит вам легкую жизнь», – говорил полковник в училище. И Михальцев запомнил это лучше других дисциплин. Получив новое дело, следовало на другой день мчаться в Синево, а еще лучше в тот же вечер, чтобы арестовать подставную фигуру, за которой можно будет притянуть и самого председателя. С комбинатом он был наверняка связан. В какой мере – это следовало проверить.

Но уразумев приказ и готовясь выполнить, Михальцев в то же время понимал, что не сделает ни того, ни другого, пока не выяснится судьба Надежды. Это может произойти в любую минуту. НКВД не любит медлить. И уезжать в такое время из Минска нельзя.

* * *

Первые сведения по делу Васильева он получил на другой день. Жена и дочь комбрига скрылись. Видимо, тоже тщательно готовились отходные пути. Уже одно это недвусмысленно говорило против них. «Сколько же врагов!» – ужаснулся Жабыч.

К концу недели пришла первая весточка. Жена комбрига Васильева арестована. Агенты выследили ее в поезде Саратов – Москва. Но дочери с ней не оказалось. Михальцев сидел как на иголках, готовый мчаться по первому звонку, чтобы уберечь Надежду от насилия хотя бы. На первых порах. А может быть, даже получить для усиленных допросов в свое управление. Тогда на него посыпятся благодарности, не говоря о том, что он решит свои проблемы.

Что стоил по сравнению с этой возможностью арест синевского тракториста? В большой игре нужен риск. А мелкая сошка никуда не убежит. Тут каждая минута на вес золота. Да что там золота – жизни!

Михальцев понимал, что, откладывая арест Ивана Латова и нарушая тем самым приказ начальства, рискует новым званием и должностью. Но игра стоила свеч.

11

Не ведая грядущей беды, беспартийный Иван Латов спал у Маньки Алтуховой, и об этом знала вся деревня. Во-первых, потому, что Манька сошлась с Иваном недавно и расстроила его свадьбу с Веркой Мозжухиной. С Веркиных слов стали говорить, что Иван в бабах не разбирается и ему любая хороша. Но в этом огульном мнении для тех же баб таилась притягательная сила. К тому же защитники Ивана добавляли, что про свадьбу талдычила одна Верка, а жених помалкивал. Разговоры эти возникали больше из-за Маньки, из-за ее семейства, которое вечно было в деревне на слуху и на виду, пока не раскололось и не изничтожилось вовсе. Братья Алтуховы перессорились из-за батькиного наследства, а оно все сгорело в девятнадцатом, когда Синево переходило то белым, то красным, то зеленым. Спустя много лет старший из братьев Алтуховых Прохор объявился на старом месте, срубил самый большой в деревне дом. Держался особняком. Ни в чем мнении не нуждался, все, что мог, тащил в свое хозяйство, обихаживал его, укреплял без устали, хотя с женой прежней не жил в ладу ни одного дня. Смолистые золотые бревна не успели потемнеть, а он уж схоронил угрюмую свою Лукерью. Манька, дочь, исправно выла и причитала на похоронах, чем заслужила прощение общества. Зато сам Прохор выстоял, как каменный, не проронил ни слова, ни слезы. И вскорости женился на молодой, за что молва крепко и сурово осудила его. По этому ли осуждению или по другой причине, происходившей от характера крепкого, самостоятельного, выправил он с помощью председателя документы и уехал в Астрахань, на заработки. Присылал Маньке письма и посылки с воблой.

А Манька и без того не нуждалась ни в чем. Картошки хватало. Корова Зорька по третьему году оказалась самой удойной. Сметана, сливки – все свое: Зорькины дары да Манькины крепкие руки. Никто не учил, а в кадушках до нового урожая и огурцы, и помидоры, и грибы. Благо батя погреб отгрохал – на зависть соседям. И на работе, по деревенским меркам, не так чтобы убивалась, счетоводом сидела в правлении. Председатель велел. Председатель ихний, бородач, из чужаков – Ерофей Фомич, – держал Маньку при себе. Несмотря на жену и троих детей, открыто с ней жил. Манька терпела до поры. Известно, на безрыбье и рак рыба. А как Ивана заманила, отставку председателю дала. Уж как он лютовал, грозился спровадить из конторы на ферму, скотине хвосты крутить. Но Манька имела над ним какую-то тайную власть. Не страшен был ей председательский гнев. В доярках она побыла, не испугаешь. Колька Чапай, конюх, прошлым летом ногу зашиб, так она и с лошадьми управлялась не хуже мужиков.

Иван скосил глаза, чтобы взглянуть на ходики. После Рождества день намного прибавился. И если уж темнело, значит, наступал поздний вечер. А Иванова обязанность была, помимо других дел, встречать почтовый поезд и доставлять письма в колхоз.

Иван осторожно высвободил руку, не хотел тревожить Маньку. Она так и проспала целый час у него на плече, закинув на губы пушистую темную прядь, пахнущую подойником и телятником.

От запаха Марусиных волос, а может, и неясных мыслей, тянувшихся будто слепленные в цепочку картинки, Иван опять задремал на минуту, успел увидеть дорогу, по которой бегал в детстве, и печку, что складывал отец. Он был мастер, и его часто зазывали в соседние деревни. Мальчишкой Иван охотно помогал отцу в кладке кирпичей, вызнавал хитрости дымного хода. Нравился ему мастеровитый летучий взгляд отца, а по вечерам, паче чаяния, любовная материнская похвала. Потом, когда началась принуда, он с неохотой шастал за отцом. И во сне чувство недовольства опять возникло. Потом перекинулось на чье-то девичье лицо. Но кто приснился, он так и не понял.

Очнулся, глянул на Маньку, разметающуюся в сладком сне, и чувство, похожее на нежность, согрело душу. Из всех знакомых девок с ней одной стало тихо и хорошо. Уже стали

забываться и Ленка-проводница, и Верка Мозжухина. Правда, Ленка в субботу набивалась. Злая, тощая, а вид, как у барыньки. И пальтишко, и чулочки. Но Иван твердо сказал: у Маньки Алтуховой надо пару венцов на сарае менять. Поняла, и глаза сделались злющие-презлющие. Ну это не впервой. Она, бывало, и раньше слова случайного, небрежного не пропустит – отомстит. Даром что замужняя. Зато в постели – краса! Глазищи в пол-лица, на щеках румянец. Ничего потом не жалко, ни подковырок, ни ожидания.

Муж у нее тоже проводник. Даже начальник поезда. Только другого. Так и живут в разлуке. Хуже кошки с собакой. Но если муж заявляется, Ивана, как с чужого коня средь грязи, долой. Кому это понравится? Сколько бы Ленка ни упрекала, а виновата сама. Ну да ладно. Время покажет.

Про Верку Мозжухину и думать неохота. Вбила в головы себе и другим насчет женитьбы. А кто обещал? При людях на шею вешается, будто муж с войны. А то неделю ходит – не глядит. Все игрушки у ней вместо любви. А может, за этими игрушками она и прячется? Кто чего обещал? Только Маруська верная, безотказная. Никакого интереса ей нету до чужих игрищ. Жаль, отсылают ее на какие-то курсы. Другая бы суетилась, беспокоилась, а у этой никаких забот. В себе уверена. Вон, коленку подняла. Сливочная – сама себя называет. Колобок. Смеху в глазах – семерым загадывали, одной досталось. У ней любой вопрос решается просто и легко. Самое ценное качество в девке. Только вот завтра уедет, а что тогда? Курсы какие-то председатель выдумал. Небось, нарочно. Месяц ее не будет.

Иван поднялся легко, неслышно, не хотел будить. Но Маруся открыла глаза и быстро встала. Из печи, не спрашивая, выставила картошку с мясом, суточные щи.

– Ты это... ничего не делай, – хрипло отозвался Иван.

Маруся огорченно развела руками.

– Картошку, Вань...

– Не... чаю...

Она все-таки поставила горячий чугунок на стол.

– Суп сметаной забели. Глянь, какая сметана. Может, так поешь? С хлебом?

– Не... Опаздываю.

– Проститься-то зайдешь утром?

– А как же?

Пока хрумкал валенками от крыльца до калитки, не чуял мороза и ветра. А в заулке проняю. До конюшни дошел по скрипучему снегу, вовсе продрог. Месяц уже выскочил над лесом, но горизонт еще зеленел. И елки за Лисьими Перебегами виднелись так отчетливо, будто их вырезали ножницами из букваря и приклеили на край неба.

Иван запряг Орлика, и молодой застоявшийся мерин резво выволок сани от худой, занесенной снегом конюшни на широкий тракт.

По пути Иван завернул к себе во двор, подогнав розвальни к дровнику, уложил на них две тяжелые лесины, припасенные для старой учительницы Клавдии Илларионовны, и выворотил обратно на улицу, бросив на председательские окна долгий взгляд.

Журавлева Клавдия Илларионовна была уже полуслепая старуха, математичка, которая мало что помнила. Но Иван старался помочь, чем мог. Осенью мешок картошки привез. Под Новый год наколот дров и уложил в поленницу. Тогда и заметил, что запасов у Клавдии Илларионовны совсем нет. С тех пор держал в памяти две лесины. С ходу влетев в крайний деревенский двор, Иван остановил Орлика, свалил бревна и собрался было уехать, но Журавлева сама вышла на крыльцо.

– Вот, дровишек привез! – крикнул он, торопясь убраться. Не любил благодарностей.

– У меня есть, – сказала Журавлева, всматриваясь. Морщинистое лицо ее в пуховом платке показалось Ивану еще более древним. Левая рука тряслась, а казалось, трясется все

тело. Она никогда не называла его по имени, и он подумал, что всякий раз представляется бывшей учительнице новым человеком. Это успокаивало.

Возле забора мелькнула и пропала тень. С привычной досадой Иван отметил, что в деревне ни одно дело не остается незамеченным. Выворачивая на улицу, он нарочно саданул краем саней по дереву.

Снег осыпался, и он увидел соседа Журавлевой Прокоповича. Тот, приволакивая ногу, крался вдоль забора. Засыпанный снегом, долго отряхивался и чихал. Очень ему было интересно узнать, отчего к Журавлевой подкатывают розвальни, да не пустые, а с лесом. Прокопович был твердо убежден, что от любопытства можно поиметь тройную выгоду: зависть унять, соседа напугать и дровишками разжиться или чем иным.

– Кто приезжал? – задал он вопрос с таким суровым видом, будто и в самом деле мог допрашивать старую учительницу. Иная баба уперла бы руки в боки и спросила: «А тебе чего, лысый черт?» Тут Прокопович разницу понимал. От Журавлевой отпора ждать не приходилось.

– Ученик бывший, – ответила Журавлева твердым голосом. – Последний мой выпуск.

В отличие от того, что думал Иван, она прекрасно его узнала, как узнавала всегда. Хотя был мальчик, а стал мужик. Но она все помнила по-своему, и для нее одной его живой, быстрый ум просвечивал сквозь грубые мужицкие черты. Так быстрый высверк реки угадывается сквозь дремучую буреломную чашу.

– Самый одаренный был, – задумчиво продолжала Журавлева. – Я его в Минск возила, и он побил всех. Из него мог выйти ученый. Я договорилась, чтобы его приняли в институт. Но председатель колхоза не отпустил. Справку не дал. В Минске только руками развели.

– Ерофей Фомич ни за что Латову ходу не даст, – наставительно высказался Прокопович и ловко свернул заскорузлыми пальцами козью ножку. Насыпал махры, затянулся. Подумал, каким бы таким ловким манером продолжить беседу. Журавлева, несмотря на преклонный возраст, не была говорливой. – Отец Ивана помнишь, какой печник был? Золотые руки. А Ерофей со зла другого взял, из Сычевки. Тот чего-то умел, чего-то знал. Словом, взялся. И печку сложил, как надо. Только зимой в метель начала она выть. Сам слушал: будто сидит кто-то внутри трубы. Когда ветер потянет, шуршание начинается. Как, скажи, лезет кто-то в трубу. Потом запоет тоненьким голосом, аж мурашки по коже. А разыграется метель, печка грубым басом гремит. Без музыки и слов, будто хочет рассмеяться и не может. Страшно! У Параскевы, председательской жены, седая прядь выскочила из-за этого печного воя. Ерофей все зубы от злости сточил, а к Иванову отцу не пошел.

– Так Иванов отец давно погиб, – твердо ответила Журавлева.

– А... это... – смешался Прокопович. – Иван-то остался. Небось, он баткино ремесло ухватил.

– Откуда мне знать? – со вздохом сказала Журавлева. – Что математик мог быть, точно скажу. А он вместо этого, гляжу, летом ямы роет. Для столбов. Тоже, конечно, нужно. Только способных математиков – один на тысячу.

– Вы что же, против колхозов? – осторожно заехал Прокопович. Глаза его загорелись и медленно остыли.

Старая учительница перестала дышать и уставилась на соседа. В такие минуты Прокопович чувствовал, как просыпается в нем былая тяга к власти.

Бывший пастух, он управлял целой волостью, когда его настиг паралич. Один из кулацких последышей, которых Прокопович успел разорить, достал его обломком ржавого солдатского штыка. Рана была неглубокая, но Прокоповича парализовало. «От неожиданности», как авторитетно говорил местный фельдшер.

В недавние лихие времена Прокопович сдал бы учительницу гэпэушникам за половину слов, которые та говорила. Теперь же он косил и посверкивал хитрым глазом, однако не доно-

сил, был обижен на власть. После того как он столько разорил, услал, «способствовал», столько сделал, ему оставили старую избу и огород на болоте. Все оттого, что не вовремя заболел, верней не вовремя ранили. Не поспел к дележу.

Глянув на здоровые лесины, привезенные Иваном, Прокопович пожевал губами от зависти, плюнул на снег и, приволакивая ногу, побрел к себе в избу.

Тем временем Орлик, слегка сдерживаемый Иваном, опять провез сани мимо председателяского дома. Дорогу к станции он знал лучше других лошадей. Порывался затрусить, но Иван успокаивал. Возле освещенного окна председательской избы он заприметил знакомую бороденку и нагольный тулуп. «Нигде его не объедешь», – с досадой успел подумать Иван, когда с крыльцовой высоты догнал скрипучий голос:

– Опаздываешь!

Иван тихо выругался, но лошадь не подстегнул, прополз мимо крашенных ворот на самом тихом ходу. И только в поле, чтобы не зябнуть, встал на санях, закрутил вожжами, присвистнул. Орлик, точно заждавшись, привычно рванул постромки и надал ходу.

12

Оглянувшись с досадой на председателя, Иван Латов не догадывался, что Ерофей Фомич ждет со дня на день его ареста. В том, что они не ладили, ничего удивительного для деревенских мудрецов не нашлось. В Синеве испокон веку такое между соседями повелось. Всяк норовил ухватить что-нибудь у другого – забор отодвинуть, захватить кусок земли. Кур ли подпустить для прокорма в чужой огород или помои слить по наклону в соседскую сторону. Зато через дом, бывало, дружили, и крепко.

Еще до председательства Ерофей Фомич то норовил отхватить у Латовых угол усадьбы, то лужок за домом подчистить. Бывало – схватывались. Но для лютой вражды причина нашлась другая.

Когда Манька Алтухова, добрая, ласковая, безотказная, умевшая утешить и ободрить, ушла к Ивану, Ерофей Фомич занемог. Грозился. Но и Манька характер показала. Дала понять, что не нужен ей старый козел. А с Латовым у нее все впереди, можно и замуж выйти.

Ерофей Фомич локти кусал из-за того, что по глупости и упрямству не отпустил Ивана учиться. Дальше носа не видел, даже был доволен собой. «Ишь, – приговаривал, – белая кость. Нам тут навоз копай, а он будет в бумажках цифирки подсчитывать. Математик!» Теперь время было упущено.

– Баба без жалости – страшное дело, – говорил он, подбадриваясь. – Ну ничего! И мы не лыком шиты.

Дождался случая.

Посылая Маньку на курсы счетоводов, он крепко рассчитывал, что за месяц много переменится. Когда Ивана не станет, Манька умерит свой характер. Ерофей Фомич очень на это надеялся.

Ему смешно и досадно стало, когда Латов, не ведая своей судьбы, пришел просить у правления лошадь. Мечтал вывезти из лесу дрова. Затаив усмешку, Ерофей Фомич отказал. А заодно припомнил Ивану поломанный осенью трактор, не вывезенное с Лисьих Перебегов сено. Хотя насчет сена была не Иванова промашка, а председательская.

Колька Чапай, член правления, молчавший во время председательского разноса, сказал, закуривая на крыльце:

– Сам конюх. И лошадь просишь? И-и-и...

Иван порвал заявку и решил, что сегодня же ночью сгоняет на Орлике в лес за дровами. Тут Чапай прав. Чтобы сапожник, да без сапог... Потом пусть судят. Если докопаются.

А Ерофей Фомич продолжал негодовать и этим как бы оправдывал себя:

– Лошадь им каждому подавай. Что же я фермы без кормов держать буду?

Накутившись до дури во время заседаний, он воротился домой к исходу дня. Цыкнул на жену, сбросил на лавку тулуп и зябко повел плечами. Домашнее тепло не сразу взыграло. Нагнулся к рукомойнику. В кусочке зеркала отразился лютый взгляд подо лбом, торчащий над ухом задорный чуб. За все прожитые годы и волнения не убавилось волос на голове. «Я тебе покажу, “старый козел”», – подумал он про Маньку.

Бороденка давно курчавилась серебром, а на голове ни одного седого волоса. Фомич иногда радовался, но в целом не любил, когда молодили. При его должности требовались суровость и опыт. А как его докажешь без суровости? Вон и Параскева со своей белой куделью быстрее задвигалась. Тоже понимает, кто в доме хозяин. А без лютого взгляда с ним и считаться перестанут.

Остричь короткую бороденку – и вышел бы из Ерофея пацан пацаном – приплюснутый нос сапожком, блеклые голубые глаза, в которых вечная напряженность, готовая развеяться в дурашливой улыбке, если собеседник окажется крепок. Может, напряженность эта проис-

ходила от трудностей жизни, а скорее всего от давешнего страха и нужды, когда испуганным мальцом ходил вместе с погорельцами, держась за выношенный материнский подол.

Подрастал хилым и слабым. Да и откуда сила возьмется, когда после погорельства они с матерью хлеба досыта не ели много лет.

Зато самолюбия накопился целый воз. Им, как отмычкой, он давил в любую щель, где можно было пролезть или пожить. Но и страх не пропал, сдерживал, оберегал от опасностей.

Нехватку силы он больше замечал в детстве, получая тумаки от сверстников. Потом научился принаравливаться, быстро угадывать сильнейшего, принимать его сторону. И немалую выгоду изымал. Чем нестерпимее казались обиды, тем больше накапливалось тихой мстительной злобы. Себя уважал, и в армии пригодились – через это уважение стал самым лучшим солдатом. Кому надо выступить против нарушителей, разгильдяев, вялых, промазывающих? – даже просить не надо. Только намекни, командир! Ероха тут же, как хорошо натасканная борзая, кидается по следу – и добывает, добывает! Не было в нем жалости, никогда не числилось этого недостатка. Трудное детство, голодное существование выработало в нем не жалость к людям, не понятливость, как полагалось по букварям, а жестокость и равнодушие. Ко всему, что не касалось его семьи и близких. Для близких – сделай, хоть расшибись, для остальных – и пули не жалко. Но пока пули нету, пока она в стволе – нужна маскировочка, простоватый подкупающий взгляд, заискивающий даже – чего изволите! И бороденка для этого.

Но бороденка позже взялась, чтобы скрыть худобу и злобство, которое, как ни крути, проступает в очертаниях стянутых завистью скул, воинственно выдвинутого вперед носа. В армии, когда старшиной назначили, услышал однажды кликуху свою, припечатанную новобранцами, – Лютый. Не подсадовал, но и не удивился. Мнение серой солдатни не имело никакого значения. Эту массу надо было мять и ломать, чтобы вышли из нее одинаковые человечки. И Ерофей нутром чуял – понимал, как это делается. Поэтому на каждом собрании говорил про светлую дорогу и грядущий завтрашний день.

Слуха не имел, но пел громче всех. Пусть для серой солдатни лютый зверь, зато для начальства – любимец и пример. Никто не удивился, когда к третьему году службы его послали на командирские курсы. Он и сам воспринял это как должное. Стал бы майором или полковником, ничего уже не казалось дальним и запретным, есть в молодые годы такая пора, когда веришь в себя по-особому. Да и то сказать – ума накопил, ошибок не сделал. Что-нибудь да сбилось бы! Любое препятствие мог превозмочь. Не превозмог лишь самую малость. Комиссия медиков какое-то затемнение в легких нашла. Отчислили Ерофея. Поломали с таким трудом налаженную жизнь, отняли, можно сказать, судьбу. И невесту найденную.

Увольняясь из армии и памятуя о неполученных чинах, он хотел взять себе фамилию Майоров, но ему не дали, и он остался Пиндяшкиным.

Когда Фомич появился в Синева – старенький пиджак и солдатские галифе, мало кто качнулся в приветствии. Но его жадность, энергия, а главное, великая охота выступать по каждому поводу расшевелили молву. Когда он начинал выступать на собраниях, люди затихали. Сперва от неожиданности, потом из уважения. Знали – непременно какую-нибудь заваыку найдет. Можно будет и посмеяться, и посочувствовать. Когда он стал неожиданно заместителем Демьяна, а потом и председателем, никто не удивился. Только доярка Таисия Парамонова обронила как-то:

– Ишь, выскочил! Оглянуться не успели.

Отчего Демьян порулил на север, известно было только Ерофею Фомичу. Такую же штуку он проделал с Иваном и не мог понять: отчего тот гуляет до сих пор?

Заметив всегдашнее необъяснимое мужнино недовольство, Параскева выставила графинчик. Слова не проронила. Седая прядь совсем закрыла лицо. Поэтому Ерофей Фомич,

люто глянув, сдержался. Молча отпил полстакана. Не пошло. Завалился на кровать и стал глядеть на месяц, вынырнувший в стекле сквозь пушистую морозную вязь.

13

К станции Иван подъехал в самый раз, то есть с запасом, но без долгого ожидания. Успел привязать Орлика позади шлагбаума и выкурить самокрутку, когда далекий гудок долетел из глубины темного, заснеженного пространства. Видно было, как поезд, покинув лесную чащобу, закружил по полю, огибая пичугинские болота. Паровозик, бросая дым на сторону, тащил игрушечные вагончики. Под ярким светом луны их можно было сосчитать. Окна вагончиков светились. Дым от паровоза на белом снегу выглядел темным. Ближе стали видны искры, вылетавшие из трубы.

Иван заглянул в пристанционный буфет, где сразу нашелся Колька Чапай, толковавший загадочно с двумя друзьями. Денег у них, как понял Иван, не было, и Чапай деловито сообщил, точно подарком наградил:

– Вместе поедem!

Но, когда Иван взял почту и вернулся за Колькой, обстановка в пивнушке переменилась. Пришел еще один человек. Без шапки, зато с деньгой. На столе уже были выставлены две бутылки, одна почти опорожнена. Человек без шапки поздоровался и пересел, уступая место. Иван узнал путевого обходчика Семена. Деньги на выпивку, как он понял, пришли от него. Чапай глянул на Ивана, будто не мог припомнить, откуда пошло их знакомство. Наконец, просветлев, вспомнил и сказал категорично:

– Один езжай! Сам доберусь.

– Волков не боишься? – спросил Иван.

Колька Чапай откинулся на спинку стула.

– А чего их бояться? Заночую вон у Семена. Знаешь Семена? То-то! Уваж-ж-жать надо каждого человека. А у Семена шестеро по лавкам. Верно, Семен? Постелишь мне в хлеву? Или в собачьей будке? Обманем волков?

Путевой обходчик, высокий, жилистый, с широким разлетом бровей и тонким носом, похожий на сову, кивнул в знак согласия.

– Семен, брат, знаешь теперь кто? – пригрозил кому-то Чапай. – О-о-о!

Долго оставлять лошадь на морозе было нельзя. Иван заторопился. Пройдясь глазом по прилавку – ни курить, ни пить! – открыл дверь, и морозный пар мигом дотянулся до самого буфета.

Иван вышел.

Поднявшийся месяц сделался меньше и ярче. Мороз как будто ослабел. Но по белым бокам Орлика было видно, что стужи хватает. Попутчиков не нашлось, и, поправив хомут на лошади, Иван выехал.

Пока выбирался на тракт, было видно, потом месяц пропал. Небо затянуло такими плотными облаками, что оно стало чернее леса. Ветер вздымал над полем пляшущие снежные гривы, словно табун диких коней вытягивался из-под земли и в буйстве своем не мог нарадоваться открывшейся свободе. Снежные заструги совсем скрыли дорогу. Но Орлик, откинув тяжелую, забитую белыми комьями гриву, уверенно выбирал колею.

Зато Иван раньше заметил, как впереди, справа, в березовом колке шевельнулась тень. Кроме волков, там некому было быть. От охватившего озноба полушубок показался просторным и провис на плечах. Иван пошарил рукой и нащупал под сеном топор.

Волки появились в прошлом году, прорвались с севера. До них было спокойно. А тут – враз! У Аверина корову загрызли. Дочка пасла ее над оврагом за Лисьими Перебегами. Сама насилиу спаслась. А Слепухин-дед возле святого колодца на троих матерых наткнулся. Тоже едва ушел. Вспомнив Слепухина, Иван придвинул к себе топор. А глупый мерин продолжал бежать, раскачиваясь. Не всхрапнул, не побеспокоился. Видно, вместе с плотью ему отсеки

самую необходимую часть, важную для самозащиты. Вглядевшись еще раз в темень берез, Иван не поверил себе. Не волчья тень, а человеческая фигура колебалась на ветру. Казалось, будто она тянется и хочет идти, но не может шагнуть. Подъехав ближе, увидел, что гнется и обманывает березка, а фигура неподвижна.

Оказалось – девка. Иван прыгнул с саней, глянул в лицо – не мертва ли? Нет, глаза жили. Только отталкивали и холодили, как студеная прорубь. Набившийся в волосы снег закручивал бесчувственную прядь, выбившуюся из-под платка.

Иван дотронулся. Девка не упала, не заплакала, не вымолвила ни слова. Но Иван почуял нутром, что жизнь в ней кончается. Потащил из сугроба, увидел, что на ней вместо валенок чулки и резиновые ботики.

Ошалело уставившись, он только выпалил хриплым зачужевшим голосом:

– Ты что?!

Повалил в сани, начал укутывать. Да разве стылое сено, перемешанное со снегом, могло прикрыть тонкие ноги?

– Ты что? – крикнул он с бешенством.

Дальше голова совсем перестала соображать. Выпутав из-под лошади вожжи, он скинул тулуп, укутал девкины ноги, потом, проваливаясь в сугробе, залез в сани. Лошадь, едва не сломав оглоблю, круто завернула и выбралась на твердую дорогу. Среди однообразной, едва различимой равнины только она могла угадывать ее и так тянуть, уверенно и споро.

От березового колка до деревни оставалось недалеко, а все же километров пять Иван простоял в санях на ветру в рваном отцовском свитере. Возле избы будто кол в глотку забили, слова не мог вымолвить. Молча сгреб девку и отнес в избу. Только там и поставил прямо в тулупе возле печи.

Отыскал в подвешенном на стенку шкафчике графин с водкой, хорошо сосед не выпил. Хлебнул стакан – голос прорезался. А девка как стояла, так и стоит.

– Не спросишь, куда привез? Может, к разбойникам? – хрипло засмеялся Иван.

– А-а, все равно... – она махнула рукой, скривилась, готовая заплакать, и тут же улыбнулась сквозь слезы. Все же отогрел ее тулуп!

Без лишних слов Иван затопил печку, спроворил самовар. Лошадь увел и распряг. Воротился – глядь! – а найденная уже чай пьет.

– Освоилась? – с ходу кивнул он. – Поняла, что не к разбойникам?

Закачала головой:

– Понять-то поняла. Да в толк не возьму, куда попала?

– А может, куда шла? Ты, главное, согрейся. Вино зеленое выпьешь?

– Какое зеленое?

– Водка...

– Ой, нет!

– А зря, – обронил задумчиво Иван.

Задумчивость его происходила оттого, что найденная с каждой минутой становилась милей, точно оттаивали внутри стылые льдинки, и она распрямлялась, румянела, как в сказке, и хорошела.

Он порадовался было. Только невезение, начавшееся с утра, продолжилось за полночь. Даже поговорить с девкой не дали. Уже вся деревня впотьмах, ни один огонь не засветится, не взиграет. А к нему – бух! Гости!

Стукнула наружная дверь, собака голос не взяла, Иван даже удивился, подумал – родственники. А вышло хуже: соседка. Отворилась со всхлипом саженная дверь, и в клубах пара явилась молодая ведьма со скрипучим голосом:

– Ива-а-ан!..

«Этой еще не хватало!» – задохнулся от ярости Иван.

Осенью повадилась к нему в дом то за солью, то за спичками. Глазами высверливала по вечерам. Видно было, какая нужна ей соль! Только Иван никак не отозвался. Ленка-проводница, которая ждала, или та же Маруська вдвое моложе были по сравнению с соседкой. В конце концов та поняла и обиделась. Ходила, словно каменная, не здоровалась. Потом оттаяла. Улыбаться начала, будто он к ней на свиданку набивается, а она до сих пор раздумывает и лукавит.

– Ай, Иван!

Соседка вертляво покрутилась, заглядывая в углы.

– Чего? – досадливо поморщился Иван.

– Ты на станцию ездил?

– Ну?

– Племянницу мою не встретил?

– А ты наказывала?

– Да нет... к слову я... вторые сутки жду. Сестра какое-то непонятное письмо прислала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.